

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

СТУДЕНТЫ

Семейная хроника

Николай Гарин-Михайловский
Студенты

«Public Domain»

1895

Гарин-Михайловский Н. Г.

Студенты / Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain»,
1895 — (Семейная хроника)

«Студенты» (1895 г.) - третья повесть автобиографической тетралогии Н.Г.Гарина-Михайловского. Прослеживая дальнейшее становление характера своего героя - Артемия Карташева - автор дает в «Студентах» широкую картину жизни, быта и настроений студенчества.

Содержание

I	5
II	9
III	10
IV	11
V	19
VI	21
VII	24
VIII	25
IX	28
X	31
XI	33
XII	38
XIII	46
XIV	50
XV	62
XVI	71
XVII	73
XVIII	77
XIX	81
XX	87
XXI	101
XXII	106
XXIII	113
XXIV	115
XXV	116
XXVI	125
XXVII	126
XXVIII	130
XXIX	133
XXX	143

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

Студенты

I

– Один ксендз исповедовал одну молодую даму... Она призналась ему, что изменила мужу... Он прочел ей суровую нотацию... Кончив, он спросил ее: «Кто же ваш обольститель?» Она назвала имя его начальника. Тогда ксендз заговорил: «Лестно, лестно, это даже очень лестно...»

Карташев заерзал на стуле, изображая ксендза...

– Тёма?!

Действие происходило в деревне у Карташевых в столовой во время обеда. Мать Тёмы, Аглаида Васильевна, положив нож и вилку, смотрела на сына, но тот предпочитал в это время смотреть в раскрытое окно в сад, там, в саду, была тень и было солнце, было весело, как только может быть весело летом в деревенском саду, так же весело, как было теперь на душе Карташева, и мысль, что он успел-таки рассказать то, что вдруг подвернулось ему на язык, еще больше веселила его.

Корнев, гостивший опять у Карташевых, не мог удержаться от улыбки, глядя то на глуповато-довольное лицо приятеля, то на огорченно-строгое лицо его матери. Он улыбался, хотя в то же время и старался, чтоб Аглаида Васильевна не видела его улыбки и тем не рассердилась на сына еще больше. Наташа кончила есть свое жаркое и равнодушно-задумчиво смотрела пред собой. Ее лицо как бы говорило: не стоит обращать внимания на Тёмины глупости, а только жаль, что он с каждым днем делается все меньше похожим на того идеального Тёму, которого она так любила когда-то.

И Аглаида Васильевна, точно прочитав мысли Наташи, принимаясь за прерванную еду, заметила с горечью:

– Было время, я мечтала, что из моего сына выйдет Вальтер Скотт...

– А вышел просто скот, – ответил Карташев в тон матери и уныло-комично опустил голову.

Удержаться было нельзя: все рассмеялись, и даже Аглаида Васильевна, улыбнувшись, произнесла:

– Это только потому хорошо, что верно.

– Да, скотина порядочная, – сказал весело Корнев и сейчас же прибавил: – Прошу извинить за выражение... Такие господа, как Тёмка, невольно выводят из рамок приличий... Гм! Гм!

– Все вы хороши, – ответила Аглаида Васильевна. – Я часто думаю... Мне даже раз сон приснился: будто масса молодежи... и все такая прекрасная, и я говорю: «Господа, столько прекрасной молодежи, а где же хорошие люди?»

– Да, хороших людей мало, – согласился Корнев. Когда обед кончился и все встали, Корнев запел:

*Быстро молодость промчится.
Так не лучшие ли пока
Жизнью вдоволь насладиться:
Жизнь ужасно коротка.*

– Это откуда? – поинтересовалась Аглаида Васильевна.

– Из «Прекрасной Елены», – предупредительно ответил Корнев.
Аглаида Васильевна махнула только рукой и пошла к себе.

Это был последний обед перед отъездом из деревни сперва в город, а затем и в Петербург.
Под вечер в последний раз собрались прокатиться в степь.

– Тёма, поедем верхом, – предложила Наташа.
– Я верхом не поеду, – решительно заявил Корнев.
– Я не вас и зову.
– Я согласен, – ответил Карташев.

Наташа поехала на своей Голубке, Карташев на Орлике.

– Хочешь, поедем в Криницы... – предложил брат. – Может, Одарку увидим... Как странно: Одарка замужем...

– Хорошо... Маму надо спросить...

Аглаида Васильевна разрешила, и брат с сестрой поехали в Криницы.

Солнце садилось. Орлик избалованно шел полурывью, и Карташев, зная, что мать наблюдает за ним из экипажа, с красивой посадкой, рисуясь и маскируя это, лениво щурился в ту сторону, где сверкали пруды Криницы. Наташа, худенькая и грациозная, держала себя просто и естественно.

– Зачем ты все хочешь увидеть Одарку? Ты говорил, что она тебе больше не нравится? – спросила его сестра.

– А может быть, она мне опять понравится?
– А если бы понравилась, ты стал бы за ней ухаживать?
– Я не знаю... – ответил Карташев тоном, задевшим целомудренную Наташу.
– Ну, так поезжай один. – И Наташа повернула свою лошадь.

Карташев засмеялся.

– Ну, не буду.

Наташа остановила лошадь.

– Честное слово?

– Ну, какое тебе дело?

– Уеду.

– Ну, честное слово, – рассмеялся Карташев.

Наташа опять повернула свою лошадь в Криницы, и брат и сестра поехали рядом.

Залитая солнцем, уютно сверкала опрятная деревня. Точно туман или пыль от лучей подымалась над рекой и окутывала ее золотистой дымкой заката. Солнце спокойно исчезало за горой. Высокая перекладина колодца у въезда в деревню на широкой лужайке, равномерно поскрипывая, медленно поднималась и опускалась под усилием какой-то бабы.

– Вот Одарка! – показала вдруг на нее брату Наташа.

Карташев не сразу поверил. Эта неуклюжая, повязанная, загорелая дурнушка – Одарка? Но это была она.

– Одарка?! – воскликнул пораженный Карташев.

Одарка подняла сконфуженно свои все еще прекрасные глаза. Но вдруг, увидя по дороге пару волов и воз, она испуганно заговорила:

– Едьте, едьте, ради бога... Конон!

– Едем, Тёма, – строго приказала Наташа.

Они повернули своих лошадей и оба смущенные молча поехали назад мимо Конона, мужа Одарки. Карташев возмущенно отвел от него глаза.

– В один год всего что он с ней сделал...

Они долго ехали молча.

– Если б я знал, лучше бы не ездил. Одарка оставалась бы все такой же прекрасной... И дурак Конон воображает, что еще можно ухаживать за ней.

Наташа не сразу ответила.

– А душевная перемена еще тяжелее переживается, – рассеянно проговорила она.

С своей обычной болезненной гримасой она посмотрела вперед и опять замолчала.

– Ты на мою перемену намекаешь? – спросил уже серьезно задетый вдруг Карташев.

– Это нечаянно само собой вышло... да. Не только на твою... у вас всех перемена...

Брат напряженно сдвинул брови и искал ответа.

– Нет... если серьезно говорить, то ведь это только поверхностно... Ну, подразнить, что ли, иногда захочется...

– Нет, Тёма... громадная перемена.

Карташев пожал плечами.

– Может... – И, вздохнув, он прибавил: – А нехорошая штука жизнь – портит людей.

Наташе еще тяжелее стало от слов брата. Она выпрямилась, точно хотела сбросить с себя эту тяжесть, и энергично проговорила:

– Нет, это пройдет... Ты опять будешь такой же идеальный... Но!

Она подняла свою лошадь в галоп, Карташев тоже поскакал с ней рядом и все думал о том, – действительно ли он переменялся и в чем было то идеальное, чего теперь нет в нем, конечно.

Наступал вечер, в степи где-то замирала песня. Воздух звенел от кузнечиков, стрекотавших без умолку где-то близко по обеим сторонам пыльной дороги. По временам вдруг выше поднималась песня и звонко неслась по степи. Звонкий голос парубка пел:

*Нехай кажуть, нехай кажуть,
Мусят перестаты,
Як уйду я на Украйну
Иниую шукаты.*

Да, да, думал Карташев, и он уедет в Петербург, и прощай все прошлое... то далекое, милое...

Затихла песня, степь замерла в неподвижном очаровании вечера, сердце больно и сладко сжималось о миллом далеком прошлом и так рвалось к нему...

Они молча доехали до усадьбы. Карташев как-то особенно любил в эти минуты свою сестру.

Он помог ей соскочить у подъезда с седла, и когда она встала на землю, он обнял ее и горячо поцеловал. Наташа тоже быстро, горячо поцеловала брата и с манерой матери, махнув рукой, быстро смущенно прошла в дом.

Карташев же, передав лошадей Грицько, пошел в сад и, гуляя по аллее взад и вперед, все думал о том, что он теперь большой уже. Через месяц он уедет в Петербург и будет жить новой, совсем новой, особенной жизнью. Там он будет другим человеком. Он станет серьезным, будет заниматься, будет ученым, – новый мир откроется перед ним, захватит его своим интересом, и забудется он в нем и потеряет все то, что пошлит людей, что берет верх над духовным только в пустой, бессодержательной жизни.

Карташев ходил, жадно и энергично вдыхал в себя ночной аромат старого сада, и когда его окрикнул с террасы Корнев, он весело и возбужденно ответил:

– Иду!

Из мягкой темноты он попал в яркую столовую, где сидели за чаем все и смотрели на него – Наташа, ласковая и повеселевшая, добродушный Корнев, мать, Маня. И все казались ему и оживленными и жизнерадостными, и он с наслаждением принял свой стакан чая, пил

его и все думал о Петербурге, а когда кончил чай, подошел к матери и горячо поцеловал ей руку. Он был скуп на ласки и, как отец его, несообщителен на чувства, и этот поцелуй и удовлетворение его души передались матери и всем. Вечер прошел незаметно, все были в духе, в том настроении, когда все кажется таким уютным, когда так хорошо поются, в знакомой налаженной обстановке, грустные малороссийские песни. И Корнев с Маней их пели, а Карташев с матерью сидели на террасе. Аглаида Васильевна говорила сыну:

– Ты у меня умный, и добрый, и хороший, Тёма, и я не сомневаюсь, что господь благословит твою жизнь... Но, милый Тёма, поверь ты мне... Я много видела в жизни, и кому же, как не тебе, передать мне свой опыт? Помни, Тёма, что единственная опасность, которая грозит тебе, – это если увлечешься в Петербурге и попадешь в те кружки, откуда выход на эшафот, в каторгу...

– Мама!

– Все, Тёма, погибнет тогда... все! и ты и твоя семья, для которой ты радость жизни превратишь в тяжелое горе... такое горе, которого не выдержу я, Тёма.

Аглаида Васильевна, взяв руками голову сына, поцеловала его горячо в лоб. Разговор продолжался, но уже о молодых – Зинаиде Николаевне и Неручеве. У них не все шло так гладко, как хотелось Аглаиде Васильевне, и она жаловалась на Неручева.

В последний раз на другой день утром обходили Корнев, Наташа и Карташев сад, заглядывали в конюшню, прощались с лошадьми. Корнев смотрел на все равнодушно, как на что-то уже чужое для него, оторванное, к чему он не возвратится больше никогда. Там ждала другая жизнь, там в ней большая или маленькая, но его доля, и интересно было увидеть скорей эту свою долю.

Наташа была равнодушна, сдержанна и как будто рассеянна. Корнев иногда пытливо останавливал на ней взгляд, иногда по лицу его пробегало сомнение, но чаще он говорил себе: «Ерунда», – и старался держаться непринужденно, как человек, который и в мыслях не держит посягать на что-либо. Наташа же только видела его желание подчеркнуть это и всем своим образом действий как бы отвечала: но ведь и я не ищу ничего. И когда им удавалось убедить в этом друг друга, они оба еще более становились спокойными, равнодушными и скучными.

– Спойте на прощанье, – обратилась Наташа к Корневу, когда они возвратились в дом.

– Нет, не хочется... Надоело... Надоело все.

– Ну, вот уж скоро, скоро в Петербург, – ответила Наташа с своей обычной гримасой.

– Что ж Петербург? Я и от него ничего не жду. Высылать мне будут тридцать рублей в месяц, при таких деньгах не разживешься. Комнатка где-нибудь на пятом этаже да лекции... в театр и то не на что будет ходить.

– Уроки будете давать.

– Какие уроки? Нашего брата там, как сельдей в бочке.

– Но другие же дают.

– Дают, кому бабушка ворожит.

– Дают, кто брать умеет.

– Ну, кто брать умеет, – желчно и едко согласился Корнев, – а нам куда? Мы люди маленькие... уже подрезанные, готовые.

– Не говорите же так...

– Отчего не говорить? Истина тяжела, но еще тяжелее отсутствие сознания этой истины, Наталья Николаевна... Нет, уж лучше знать...

– Да ведь откуда вы знаете?

– Э-э! Знаю... Чувствую-с...

II

Карташевы приехали в город, и текущие интересы дня поглотили все их внимание. Карташева обшивали с ног до головы, как на свадьбу. Шили ему белье, платье, пальто, шубу. В пиджаке он будет ходить на лекции, в сюртуке в театр, к знакомым. Необходимо перчатки и *rinse-nez*. Перчатки он купил, но *rinse-nez* не решился и мечтал только о нем. Там, в Петербурге, он его купит. Он остригся, потому что при примерке нового платья все было новое, кроме старых волн его густых, не желавших держаться аккуратно, русых волос. Так как он требовал от портных, чтоб те шили как можно уже в талии, то платья его смахивали в конце концов на платье с младшего брата. Сам Карташев, впрочем, этого не замечал – его стягивало, как в корсете, он этого только и желал. Ему показались рукава длинными: недостаточно виднелись из-под них манжеты – ему обрезали и рукава.

Наконец все было готово: и платье, и белье, и шуба, и башлык, и даже кожаные калоши. Непременно кожаные. Человек хорошего тона не наденет резиновых. Груда вещей занимала кабинет, лежала на стульях, столах, и Карташев в избытке чувства сам ложился тут же на диван, поверх какого-нибудь нового сюртука, положив ноги на новые штаны, и в каких-то волнах без образов плавал в своем удовлетворенном через край чувстве.

В новом платье он ходил к знакомым и жалел, что нельзя сразу все надеть: все платья, и шубу, и башлык, и калоши. О последних и речи не могло быть в конце июля – и в одном черном сюртуке была невыносимая духота. Но тем не менее как-то вечером, перед самым отъездом, провожая одну из Наташиных подруг, Горенко, Карташев под предлогом прохладной ночи (ночь была удушливее дня) надел и пальто и калоши. Хотел даже надеть и башлык и барашковую шапку, потому что в зеркале он так нравился себе в этой шапке.

– Вам не жарко? – спросила его участливо Горенко.

– Нет, – ответил серьезно и озабоченно Карташев, – у меня маленькая лихорадка, – и, чтобы быть вполне естественным, он даже засунул свои руки в перчатках в рукава своего пальто.

Горенко жила далеко, ночь была лунная, улицы пустынные, шелканье калош оглашало далеко кругом неподвижный воздух и доставляло их владельцу порядочное-таки неудобство.

Когда они подошли к дому, где жила Горенко, Карташев позвонил, и они ждали, пока им отворят.

– Нет, вы сегодня неразговорчивы, – усмехнулась Горенко.

– Я вам говорю, что у меня лихорадка.

По двору раздались шаги дворника.

– Ну, желаю вам всего лучшего. Я все-таки хочу верить, что не ошиблась в вас... У кого есть такая сестра, как Наташа...

Горенко говорила с своей обычной манерой думать вслух.

– Прощайте...

Она быстро пожала руку Карташева и скрылась прежде, чем закутанный Карташев сообразил что-нибудь.

Возвращение домой на этот раз было невеселое. Он всегда был уверен, что в глазах Горенко стоит на высоте. Ее последние слова одним взмахом сшибли его с подмостков... Теплое пальто давило плечи, калоши, утихшие было, стали снова отбивать такой назойливый такт, что Карташев с воплем: «А, будьте вы прокляты!» – вдруг махнул сперва одной ногой, затем другой, и калоши улетели и где-то далеко посреди улицы шлепнулись одна за другой. Но калоши все-таки представляли из себя капитал, и Карташев, удовлетворив свой гнев, отправился на розыски, нашел их и, держа их в руках, пошел дальше.

III

Завтра отъезд... Завтра все это исчезнет, и совсем другая обстановка уже будет окружать его, Карташева. Эта теперешняя никогда уже не возвратится. Приезд на каникулы будет только временным пребыванием в гостях, но своя жизнь будет уже не здесь – пойдет отдельно и так до конца. Все счета таким образом сведены с этой жизнью – с гимназией, матерью, семьей. Все, что пошлою жизнью, что делало ее будничной, теперь уж позади. Теперь это только близкие люди, которые ничего не жалели и не жалеют, чтоб дать все, что могут. Карташев в первый раз заметил, что мать его постарела и как будто стала меньше... Она нервно, озабоченно возилась около его вещей, старалась не смотреть на него и боролась с собою. Он видел это, видел, как все-таки тяжел ей был его отъезд, и несколько раз его тянуло обнять мать, расцеловать, обласкать. Прежде его ласкали, а теперь ждали его ласки. И он знал, что для матери его ласка была бы большим утешением, была бы счастьем. И тем не менее он не мог себя заставить быть нежным и ласковым, не мог вырваться из какого-то прозаического настроения. Что-то мешало. Конечно, не то доброе чувство, которое теперь в нем было, а скорее – страх, что иллюзия этого чувства разлетится, когда он исполнит свое желанье. Может быть, этого чувства хватило бы только, чтобы сделать первый шаг, а затем он остался бы лицом к лицу с той матерью, перед которой стоял, когда удалили из дома Таню, когда его высылали вон, когда насиловали его волю, когда к такой пошлой прозе сводились его порывы... Боже сохрани, он не хотел ничего помнить, не хотел ни в чем упрекать, он любил всей душой, но след, след оставался, и как тяжело экипажу свернуть с наезженной глубокой колеи, так было трудно вырвать что-то из сердца, что не зависело больше от Карташева. И мать это как-то инстинктивно чувствовала и, ничего не требуя, испытывала в то же время неприятное раздражение.

Доставалось Наташе, горничной, но с сыном она была только озабочена и при нем больше обращала внимания на его вещи, чем на него.

Пришел Корнев прощаться, тоже в новом костюме, задумчивый и сосредоточенный. Он сидел, грыз ногти, отвечал односложно.

– Ну-с... – проговорил он и с неестественной улыбкой поднялся.

И в ту же минуту и он и все поняли, что пришло время расстаться, а с разлукой пришла и новая жизнь. Это стоял уже не мальчик, не гимназист Корнев, – это стоял молодой человек в черном сюртуке. Его лицо побледнело и по обыкновению, как то бывало с ним в минуты сильного волнения, слегка перекошилось.

– Ничего не поделаешь... надо прощаться...

Голос его хотел быть шутливым, но дрожал от волнения. Наташа стояла перед ним бледная, большие глаза ее почернели еще, и она точно испуганно смотрела в него, как бы стараясь вдруг вспомнить то, что все время до этого мгновенья вертелось у ней в голове.

– Вот как время летит, Наталья Николаевна, а впереди что?

Он на одно мгновенье пылливо, напряженно заглянул ей в глаза.

Наташа все продолжала во все глаза смотреть на Корнева и вряд ли сознавала что-нибудь, когда пожала ему руку.

Корнев вышел в переднюю, надел пальто, вышел на подъезд, перешел улицу, а Наташа бессознательно подошла к окошку и смотрела ему вслед. Корнев вдруг повернулся, точно какая-то сила толкнула его, и, увидев Наташу, сорвал свою шляпу и несколько раз низко и быстро поклонился. Это был прежний гимназист Корнев в засаленном пиджаке там в деревне, и глаза Наташи вдруг засияли волшебными огоньками.

IV

И день отъезда настал. Уезжали: Корнев, Карташев, Ларио, Дарсье и Шацкий.

Шацкий, несмотря на то, что познакомился очень недавно со всей компанией, уже сумел вызвать к себе общее нерасположение. Он, собственно, не был учеником гимназии и держал со всеми только выпускной экзамен. Он был то, что называется экстерн, или футурус. Выдержал Шацкий экзамен хорошо, но крайней эксцентричностью своих манер поражал и часто возмущал всех. Более других возмущался Корнев, не могший выносить этой высокой, развинченной фигуры, всегда в невозможном по безвкусию костюме, с претензией на какой-то шик, которого не только у него не было, но, напротив, все было карикатурно и уродливо до непозволительности. Ко всему Шацкий как-то без смысла и цели лгал: сегодня он граф, завтра князь, а в то же время все знали, что его родня занимается в городе торговлей.

Поезд отходил в семь часов вечера. Первым приехал на вокзал Шацкий, одетый в поло-сатый костюм в обтяжку, долженствовавший изображать англичанина.

Худой, высокий, с маленькой рысью физиономией, с вечно бегающими глазками и карикатурно длинными руками и ногами, Шацкий, безобразно ломаясь, быстро ходил взад и вперед, что-то без голоса, фальшиво напевая себе под нос. Иногда он вдруг останавливался, широко расставляя свои длинные ноги, вытягивал свою рысью голову, усиленно мигал, точно соображал что-то, и затем, весело щелкнув пальцами перед своим носом, еще карикатурнее раскачиваясь и чуть не выкрикивая какой-то дикий, бессмысленный мотив, продолжал свою беготню по платформе.

В дверях показались Корнев и Ларио.

– Здесь уже? – брезгливо проговорил Корнев, увидев Шацкого. – Готов пари держать, что его все принимают за идиота.

Ларио, широкоплечий, коренастый, с круглым румяным лицом, с большими близорукими карими глазами, бойкий только в своей компании и очень конфузливый в обществе, в ответ на слова Корнева прищурился, оглянул платформу и поспешно произнес:

– Послушай, сядем вот в том уголке.

Усевшись на зеленую скамейку подальше от публики, Ларио на мгновение почувствовал себя удовлетворенным, но вскоре опять заерзал.

– Рано приехали... – сказал он, прищурившись.

Помолчав еще, он с напускной бойкостью спросил Корнева:

– А что, Вася, как насчет пивка?

– Пивка так пивка, – ответил Корнев.

– Молодец, – вдруг оживился Ларио, – люблю таких. Гарсон, пару пива! Терпеть я, Вася, не могу всякого этакое собрания.

– А я вот терпеть не могу таких, как этот Шацкий.

Шацкий, не обращая внимания на товарищей, продолжал бегать взад и вперед.

– Ну, что ты против него имеешь? В сущности, ей-богу, он ничего себе.

– Ты думаешь? – спросил Корнев, принявшись за свои ногти. – Послушайте, вы, – примирительно окликнул он Шацкого, – подите сюда.

Шацкий, засунув руки в карманы своей английской куртки, подошел к сидевшим и, широко расставив длинные ноги, уставился в Корнева, стараясь замаскировать некоторое смущение пренебрежительным выражением лица.

– Ну, одним словом, настоящий англичанин, – сказал пренебрежительно Корнев. – Вы сегодня кто: граф, князь, барон?

Шацкий рассмеялся, но, сейчас же скорчив серьезную физиономию, церемонно ответил:

– Маркиз, вы слишком любезны...

– А вы, князь, шут гороховый... то бишь, я хотел вам предложить один вопрос: приедет ли ваша пышная родня вас провожать сегодня?

– Нет, лорд, я уезжаю инкогнито.

– Это значит, что вы все-таки не добились разрешения на ваш отъезд. Откуда же вы в таком случае достали денег? Мне страшно подумать, князь: неужели вы решились на преступление и, говоря грубым жаргоном обитателей тюрьмы, попросту украли у вашего батюшки деньги?

– Лорд, что за выражения, – рассмеялся Шацкий, – за кого вы меня принимаете?

– В таком случае я ничего не понимаю...

– Да вы еще меньше, мой друг, поймете, если я вам скажу, что у меня в кармане тысяча рублей и я чист, как слеза.

Шацкий щелкнул пальцами и перекрутился на одной ноге.

– Во-первых, я вам не друг, а во-вторых, князь, позвольте по поводу последнего пункта остаться при особом мнении...

– В таком случае я не могу больше продолжать с вами беседу и потому...

Шацкий снял свою английскую фуражку.

– Можете убираться ко всем чертям, барон.

– Вы начинаете сердиться – это к вам не идет, – ответил Шацкий уже издали.

– Как все-таки досадно, что мы связались с ним, – проговорил Корнев, – он нам всю дорогу испортит.

– Ну черт с ним, – ответил Ларио, – давай раздавим еще по кружечке.

И Ларио с чувством прижал ногу к столу.

– Да ведь так мы с тобой налижемся, пожалуй.

– От пары пива? Хо-хо-хо! Как ты глуп еще, Вася! Человек, пару!

Еще выпили пару.

Ларио, по мере того как пил, делался все оживленнее, а Корнев как-то все больше и больше слабел.

– Нет, я больше не буду, – уперся Корнев после третьей кружки. – У меня голова слабая, я не могу. Ты пей, а я посижу.

– Вася, не выдавай!

– Оставь!

– Вася, будь друг! Ты ведь еще мальчишка, а я в Питере уже был и, как свои пять пальцев, знаю... приедем – все покажу. Вася, голубчик, выпей, уважь, будь друг.

Корнев блаженно улыбался и наконец как-то отчаянно махнул рукой.

– Вася, друг! понимаешь, друг! Мальчик, два пива!

– Я боюсь только, – ответил Корнев, – что ты, Петя, скандал в конце концов сделаешь.

– Я, скандал? Я?!

И Ларио с чувством и упреком уставился в Корнева.

– Вася?! Ты мой лучший друг. За кого ж ты меня принимаешь? Видишь эту вот кружку, – больше ни-ни! Понимаешь, Вася? Эх, Вася, ведь ты думаешь, я пью для удовольствия – нет! Для куражу пью. Робкий я, Вася! Как народ – так, кажется, сейчас бы сквозь землю провалился, – не знаю, куда руки, куда ноги девать, а как выпьешь, и ничего, – ходишь себе, точно никого нет. Вот и сегодня – народу много приедет, ну, я и подбадриваюсь.

– Не перебодрись только.

– Небось я знаю себя. Я, Вася, все знаю, все вижу, только скромность моя, Вася... Вот, Вася, хоть тебя взять. Думаешь, не вижу? А Наташа Карташева?

– Что Наташа? – спросил, стараясь придать себе равнодушный вид, Корнев. – Тебе понравилась?

– Вася, не финти, мне наплевать на Наташу, а вот твоё рыльце в пушку. Подлец, Вася: краснеешь, врешь, меня не надуешь.

И Ларио залился громким, каким-то неестественным смехом.

– Вот ты говорил, что не захмелеешь...

– Врешь, врешь, я не захмелел. Только ты брось всех этих порядочных, Вася, – все они ломаки. Нет в них наивной простоты, и страсть, страсть их пугает. Пугает! Понимаешь?

– Послушай, на нас смотрят.

– Начхать! Слушай, Вася! Я тебя познакомлю в Питере со швейками. Я, Вася, больших не люблю. Я люблю маленьких. Эх, Вася, ненасытный я!.. Я тигра лютаю, Вася... я крови хочу!!

И Ларио вдруг зарычал на всю платформу.

– Послушай?!

Входившие мать Корнева, сестра его, Семенов и Долба искали глазами Корнева.

Семенов и Долба приехали проводить.

Долба и Вервицкий оставались в одном из южных университетов.

– Вот он!

Когда все подошли, Маня Корнева сказала брату:

– Вася, как тебе не стыдно! Маменька, посмотрите.

Она показала на кружки пива.

– Васенька, миленький мой, – произнесла как-то автоматически мать Корнева. – Как же тебе не стыдно?

Корнев смущенно махнул рукой.

– Ну, что вы, маменька, в чем тут стыд, какой тут стыд? Ну, выпили кружку пива, ну, что ж тут такого?

– Как же так, Вася, ты молодой человек, у тебя сестра на возрасте.

– Ну и слава богу, – перебил ее Корнев, – вот я сейчас заплачу, и пойдем.

– Нет, я плачу, – перебил его Ларио.

– Ну, черт с тобой, плати ты.

– Ах, Васенька, опять ты эти слова!

– Полноте, маменька, все это пустяки. Слова как слова. Это вот дворянам надо слова разбирать, потому что они дворяне, а мы с вами, маменька, люди маленькие.

– Маленькие, сыночек, маленькие... Васенька! Только зачем же ты все-таки это пиво пьешь – нет в нем добра, Вася. Ох, ножки мои, ножки, совсем не могу стоять – посади меня, Васенька!

И старушка Корнева тяжело опустилась на скамью.

Приехали наконец и Карташевы: Аглаида Васильевна, Наташа, Тёма и брат Аглаиды Васильевны, высокий господин с большим добрым рябым лицом. Аглаида Васильевна выписала брата из его маленького имения с тем, чтобы он поселился у нее и вел ее дела. Он приехал как раз в тот день, когда уезжал Карташев. Он говорил сестре «вы» и был в полной от нее зависимости.

– Я не перевариваю, – сказал Корнев, – Карташева возле матери: она вьет из него веревки.

– А Наташу перевариваешь? – спросила сестра.

– Ну, Наташа, – кивнул головой Корнев. – Он в подметки не годится своей сестре. Она цельная натура. Впрочем, и он отличный парень, и я люблю его от души.

Корнев благодушно махнул рукой.

– Но только чувствую...

– А вы не чувствуете, Васенька, что от вас, как из пивного бочонка, несет пивом?.. – спросила сестра.

– Это не вашего ума дело, – ответил ей брат. – Вы вот слушайте, что вам говорят, и ладно будет.

- Ах, Вася, не обижай сестру на прощанье.
- Маменька, ее никто не обижает, она сама всякого обидит...
- Послушайте, Семенов, уведите его и приведите в чувство, а то он что-нибудь выкинет перед Карташевыми, – обратилась Маня к Семенову.
- Ерунда, – ответил уверенно Корнев.
- Ничего не выкинет, – авторитетно сказал и Семенов, – вот разве два три зернышка жженого кофе, чтоб дух отшибить.
- Ладно и так, – пренебрежительно ответил Корнев.
- Подошло семейство Карташевых, и все начали между собой здороваться.
- А где же Ларио? – спросила Наташа.
- Маня Корнева насмешливо посмотрела на брата.
- Ну, что же ты молчишь? Где Ларио?
- Ларио? Он скрылся. Знай, несчастная, что он ненавидит таких, как ты.
- И Корнев запел выразительным и верным голосом:

Нас венчали не в церкви...

- Ничего не понимаю.
- И не надо тебе понимать.
- Противный!

- Семенов забил тревогу о том, что надо вспрыснуть отъезд.
- Незаметно компания оставила платформу и скрылась под навесом буфета. Когда налили всем по рюмке водки, Долба, тряхнув волосами, произнес:
- Ну, за отъезжающих... Дай же боже, щоб наше теля да вивков сьило.
- Выпили.
- Наливайте еще за остающихся, – предложил Семенов.
- Карташев, не любивший водки, отказался:
- Нет, я больше не буду.
 - Что? мама? – спросил его вызывающе Ларио.
 - Дурак, – ответил Карташев и залпом выпил другую рюмку.
- Водка обожгла ему горло, и он несколько мгновений стоял, будучи не в силах произнести что-нибудь.
- Скажи: мама! – посоветовал ему Ларио, вызвав общий хохот.
- Карташев в ответ хлопнул его по спине и проговорил наконец:
- Черт меня побери – я передумал поступать на математический, потому что все равно срежусь.
 - Инженер путей сообщения, значит, тю-тю?! Куда ж? Неужели на юридический? – весело поразился Корнев.
 - Угадал!
 - О-о! Легкомыслие!
 - Водки! – решил по этому поводу Ларио.
 - В таком случае, – вмешался вдруг Шацкий, – я тоже на юридический поступаю, а не в институт путей сообщения.
 - Вот это хорошо, – быстро ответил Корнев, – вас там только недоставало! Первая умная вещь, которую от вас слышу. Согласен даже еще выпить по поводу такого счастливого случая.
- После четвертой рюмки Корнев, порядочно охмелевший, сказал:
- Ну, пьяницы, довольно, пошли все вон назад.

Когда они вернулись на платформу, Корнева встретила глазами с Карташевым... Он, под влиянием выпитой водки, особенно нежно взглянул на нее.

– Карташев, подите сюда, – подозвала его Корнева.

Они пошли по платформе.

Аглаида Васильевна, собравшаяся было что-то сказать сыну, только махнула рукой и, обратившись к брату, заметила:

– И не слушает даже! Посади меня где-нибудь.

Брат подвел сестру к скамейке, стоявшей в стороне, и проговорил, усаживаясь рядом:

– Да уж, сестра, такой возраст, что на всякую юбку променяет нас.

– Ни на кого он меня не променяет, – сказала, помолчав, Аглаида Васильевна, – он любящий, добрый мальчик.

– Так-то так, да года-то его не любящие.

– Глупости говоришь ты, – ответила Карташева, – если уж хочешь знать, могу тебе сообщить характер их отношений: он поверенный в ее любви к Рыльскому.

Аглаида Васильевна бросила насмешливый взгляд на брата.

– Сам признался мне. Совершенный еще ребенок, – усмехнулась Карташева. – Рассказывает мне, как он стал ее поверенным...

– Разиня какой...

Аглаида Васильевна, видимо, не рассчитывала на такой эффект и вызывающим голосом спросила:

– Почему разиня?

– Помилуйте, сестра, в его годы...

– Ну, вот опять его годы!.. только что ты говорил, что в его годы он меня с тобой променяет на всякую юбку, а теперь... Дело не в годах здесь, а в воспитании.

И Аглаида Васильевна с некоторой пренебрежительностью отвернулась от брата и стала искать глазами сына.

– Послушайте, Карташев, – говорила между тем Корнева, – я замечаю, что с тех пор, как... Ну, одним словом, с тех пор... вы помните... вы совсем переменяли со мной обращение. Я хочу знать, почему это? Если в ваших глазах я пала...

– Бог с вами, что вы говорите, – горячо заговорил Карташев. – Я был бы негодяем, если бы, узнав так доверчиво открытую мне тайну, вдруг позволил бы себе... Да, наконец, что тут дурного? Поверьте, что всякий на его месте только...

Карташев замолчал.

– Что только?

Сердце Карташева замерло от вдруг охватившего его чувства.

– Послушайте, – сказал он решительно, – мы сейчас уезжаем. Неужели вы никогда не догадывались, что я был в вас, как сумасшедший, влюблен?

– Вы?! А теперь?

Карташев поднял на нее свои глаза.

– Н... да... послушайте... – растерялась Корнева, – что я вам хотела сказать?

Горячая волна крови прилила к ее лицу.

Они оба молчали и стояли друг против друга. Карташев испытывал какое-то совершенно особенное опьянение.

– Как хотите, сестра, но с таким лицом не поверяют и не принимают поверяемых тайн, – лукаво произнес брат Аглаиды Васильевны.

Мать сама давно заметила что-то особенное и теперь громко и строго позвала сына:

– Тёма, мне надо с тобой поговорить.

Карташев в последний раз посмотрел на Корневу. Все вихрем закружилось перед ним, и, не помня себя, он прошептал:

– Да, я люблю вас и теперь!

Взволнованный подошел он к матери.

Карташева встала и недовольно сказала сыну:

– Ты мог бы и раньше переговорить с посторонними (на этом слове она сделала особое ударение), а последние минуты можно, кажется, и с матерью побыть... Пойдем со мной.

Сын пошел рядом с нею. Они ходили по платформе, ему что-то говорила мать, но он ничего не слышал, ничего не видел, или, лучше сказать – видел, слышал и чувствовал только одну Корневу, ее голубенькое в мелких клетках платье, ее жгучие глаза. По временам от избытка чувства он поднимал голову, смотрел в ясное небо, вдыхал в себя нежный аромат начинающегося вечера, влюбленными глазами следил за проходившей по временам Корневой, и все это было так ярко, так сильно, так свежо, так не похоже на то настроение, которого желала и требовала мать от уезжавшего в первый раз от нее сына.

– Ты на прощанье стал совершенно невозможным человеком. Ты ничего не слушаешь, что я тебе говорю. Скажи, пожалуйста, что она с тобой сделала?!

– Ничего не сделала, – угрюмо ответил Карташев.

– Ты пьян?!

– Ну, вот и пьян, – растерянно сказал Карташев.

Аглаида Васильевна, как ужаленная, отошла от сына. Она была потрясена. Она всю себя отдала детям, она делила с ними их радости и горе, она только и жила ими, волнуясь, страдая, переживая с ними все до последней мелочи. Сколько горя, сколько муки перенесла она, работая над сыном. И что ж? Когда она считала, что работа ее почти окончена, что вложенное прочно и надежно, что же видит она? Что первая подвернувшаяся пустая девчонка и кутилы товарищи сразу делают с ее сыном так же, как и она, все, что хотят. Уверенная в себе, она точно потеряла вдруг почву. Слезы подступили к ее глазам.

«Я, кажется, делаю крупную ошибку, – я рано, слишком рано отпускаю его на волю», – подумала она.

А Карташев, отойдя от матери, со страхом думал о том, чтобы скорее был звонок – поскорее уехать. Он боялся, что мать вдруг возьмет и оставит его. Он вдруг как-то сразу почувствовал весь гнет опеки матери, и ему казалось, что больше переносить этой опеки он не мог бы. Даже Корнева, если б он остался, не утешила бы его. Напротив, ради нее он хотел бы еще скорее уехать. Это признание, которое так неожиданно вырвалось, которое так сладко обожгло его, начинало уже вызывать в нем и к ней и к себе какое-то неприятное чувство сознания, что они оба точно украли что-то такое, что уж ни ей, ни ему не принадлежит. Карташев вслед за другими угрюмо подошел к кассе и лихорадочно ждал своей очереди. Но вот и билет в руках. Сдан и багаж. Уж везут его сундук на тележке.

Сомнения больше нет: он едет!

Через несколько минут все это уж будет назади. Перед ним жизнь, свет, бесконечный простор!

Он тревожно искал глазами мать.

Взгляд его упал на ее одинокую затертую фигурку. Она стояла, облокотившись о решетку, ничего перед собою не видя; слезы одна за другой капали по ее щекам. А у нее что впереди?!

Карташев стремительно бросился к ней.

– Мама! Милая мама... дорогая моя мама...

Слезы душат его, он целует ее голову, лицо, руки, а мать отворачивается и наконец вся любящая – рыдает на груди своего сына. Все стараются не замечать этой бурной сцены между сыном и матерью, всегда такой сдержанной. Аглаида Васильевна уже вытирает слезы; Карташев старается незаметно вытереть свои. Слабый, как стон, уже несется удар первого звонка, и уже раздается голос кондуктора:

– Кто едет, пожалуйста в вагоны.

Толпа валит в вагоны.

– Сюда, сюда! – кричит Долба.

Нагруженная, за ним бежит подвыпившая компания, бурно врывается в вагон, и из открытых окон вагона уже несется звонкое и веселое «ура!».

Жандарм спешит к вагону и, столкнувшись в дверях с Шацким, набрасывается на него:

– Господин, кричать нельзя!

– Мой друг, – отвечает ему снисходительно Шацкий, – ты не ошибешься, если будешь говорить мне: ваша светлость!

Фигура и слова Шацкого производят на жандарма такое ошеломляющее впечатление, что тот молча, заглянув в вагон, уходит. Встревоженные лица родных успокаиваются, и чрез несколько мгновений отъезжающие опять возле своих родных и над ними острят.

– Вот отлично бы было, – говорит Наташа, – если бы жандарм арестовал вас всех вдруг.

– Что ж, остались бы, – говорит Корнев, – что до меня, я бы был рад.

Он вызывающе смотрит на Наташу, и оба краснеют.

– Смотрите, смотрите, – кричит Маня Корнева, – Вася краснеет! первый раз в жизни вижу... ха-ха!

Все смеются.

– Деточки мои милые, какие ж вы все молоденькие, да худые, да как же мне вас всех жалко! – И старушка Корнева, рыдая, трясет головой, уткнувшись в платок.

– Маменька, оставьте, – тихо успокаивает дочь, – смотрят все.

– Ну и пусть смотрят, – горячо не выдерживает Корнев, – не ругается ж она!

– Голубчик ты мой ласковый, – бросается ему на шею мать.

– Ну, мама, ну... бог с вами: какой я ласковый, – грубиянил я вам немало.

Второй звонок замирает тоскливо.

Начинается быстрое, лихорадочное прощанье. Аглаида Васильевна крестит, целует сына, смотрит на него, опять крестит, захватывает воздух, крестит себя, опять сына, опять целует и опять смотрит и смотрит в самую глубину его глаз.

– Мама, мама... милая... дорогая, – как маленькую, ласкает и целует ее сын и тоже заглядывает ей в глаза, а она серьезна, в лице тревога и в то же время крепкая сила в глазах, но точно не видит она уж в это мгновение никого пред собой и так хочет увидеть. Она судорожно, нерешительно и бесконечно нежно еще и еще раз гладит рукой по щеке сына и растерянно все смотрит ему в глаза.

У Карташева мелькает в лице какой-то испуг. Аглаида Васильевна точно приходит в себя и уже своим обычным голосом ласково и твердо говорит сыну:

– Довольно... я довольна: ты любишь... Бог не оставит тебя... Иди, иди, садись...

Вот они все уж в окнах вагона и опять точно забыли, что чрез минуту-другую тронется поезд.

В толпе провожающих быстро мелькает цилиндр Дарсье.

– Дарсье, Дарсье!

Все, возбужденные, высовываются из окон.

– Едешь?!

– Еду, но без разрешения: сорок рублей всего в кармане!

– Уррра... а-а-а!!! – залпом вылетает из всех окон вагона.

Жандарм опять спешит с другого конца.

– А багаж?

– Ничего!

– У-ррр-а-а-а!

– О-ой! – завывает от восторга Корнев.

Дарсье влетает в вагон, и на мгновение все лица исчезают в окнах.

Слышны оттуда полупьяные веселые крики и возгласы:

– Кар! Кар!

– Француз!

– Ворона!

– А это видел? – вытаскивает Ларио бутылку водки и колбасу.

– Урра-а-а!

– Господа!! – кричит жандарм.

Все опять бросаются к окнам.

– Виноват!! Никогда больше не буду!! – кричит ему из окна Корнев и корчит такую идиотскую рожу, что все, и отъезжающие и остающиеся, хохочут.

Третий звонок, и все сразу стихают. И отъезжающие и остающиеся впиваются друг в друга глазами, точно желая сильнее запечатлеть милые, близкие сердцу образы. Тихо трогаются вагоны и один за другим все быстрее катятся и проходят пред глазами провожатых.

– Лови, – бросает Ларио огрызок колбасы в лицо жандарма, мимо которого проносится теперь их вагон, и, как бы помогая жандарму в его недоумении, что ему делать, кричит из окна, разводя руками: – Э, э, э...

А там, на платформе, стоят и всё смотрят вслед исчезающему поезду. Уж только площадка последнего вагона виднеется. И ее уже нет, и весь поезд скрылся за закруглением в садах, окружающих город. Только белое облако пара не успело еще расплыться в неподвижном, горящем всеми переливами огней, тихом закате.

А две матери все еще стоят и сквозь туман слез все еще смотрят в опустелую даль, вслед исчезнувшим, как сладкий сон, милым сердцу детям.

V

Первое впечатление от большого Петербурга было сильное и приятное. Громадные дома, перспектива Невского, его беззвучная мостовая, этот «ванька», на котором точно скользишь и съезжаешь куда-то по гладкой мостовой, тысячи зеркальных окон, экипажи, толпа... Затерянный Карташев ехал на своем извозчике, и какое-то сильное чувство охватывало его. Сырой запах сосны и смолы, смешанный с бодрящим морозным ароматом осени; небо в влажных разорванных тучах и в них солнце, полосами освещающее и улицы, и громадные дома; свет и тени этого солнца и эта движущаяся толпа... Карташев радостно всматривался и думал: вот где жизнь бьет ключом, кипит! И ему хотелось поскорей броситься в водоворот этой жизни. Радовала и мысль, что он теперь совершенно самостоятельный человек: когда хочет обедает, когда хочет и куда хочет идет, – сам себе полный хозяин.

Однако постепенно, рядом с этим чувством радости, стало закрадываться и другое. Карташева начинало тревожить сознание своей отчужденности от всей этой жизни, сознание своего одиночества. Люди идут, едут, спешат куда-то, – одному ему некуда спешить, нечего делать.

Приемные экзамены кончились, но лекции еще не начинались. В чистенькой комнате в четвертом этаже на Гороховой тоже делать было нечего. Читать не хотелось: в этом водовороте жизни тянуло не к книге. Этот шум улицы врывается в комнату, и, несмотря на четвертый этаж, лежащему на своей кровати Карташеву казалось, что он лежит не у себя в комнате, а прямо на улице: и кругом, и мимо него, и над ним, и по нем едут, громыхают, дребезжат и при этом не обращают на него никакого внимания. И точно, чтоб убедиться в этом, он опять бежал на улицу, а улица гнала его снова домой и опять-таки только для того, чтобы, стремительно взбежав на лестницу, войти, раздеться, оглянуться и сесть или лечь, почувствовав еще сильнее свою пустоту и одиночество.

Компания как-то сразу разбрелась и затерялась в большом городе.

Корнев поселился на Выборгской.

Ларио исчез совершенно с горизонта. Шацкий выдержал экзамен в институт путей сообщения, но о дальнейшей его судьбе Карташев тоже ничего не знал.

– Способный, шельма, – с завистью отдавал ему должное Корнев.

Дарсье поселился в доме своих дальних родственников, поступив в технологический институт главным образом потому, что здесь не требовалось никаких поверочных испытаний.

Как-то не было даже и охоты видаться друг с другом. Каждый понимал, что он отрезанный от других рукав реки, и каждый жадно искал своего выхода.

Одиночество все сильнее охватывало Карташева. Он бегал от него, а оно его преследовало. Побывал он в театрах, в Эрмитаже, в Академии художеств, но везде была все та же чужая ему, раздражавшая своей непонятной жизнью, незнакомая толпа. В жизни этой толпы были, конечно, и большой интерес, и большое содержание – она кипела, но чем сильнее кипела, тем больше мучился Карташев, единственный между всеми обреченный томиться пустотой и жаждой жизни. Иногда, вечером, выгнанный скукой из своей комнатки, он шел по пустынным улицам, и тогда в стихающем шуме точно легче становилось на душе. Он вспоминал мирную, налаженную жизнь своего городка, семью, былой кружок товарищей, гимназию и интересы, связывавшие их всех в одно. Он с тоской заглядывал в освещенные окна тех домов, которые своими размерами напоминали ему далекую родину. Там, за этими окнами маленьких домиков, жили люди, у них были свои интересы. И он их имел когда-то. Вот сидит в кресле какой-то молодой господин, девушка прошла по комнате, – какая-то счастливая семейная обстановка. Счастливые, они живут и не знают, что есть на свете ужасный зверь – скука, – который бегаёт по улицам и жадно караулит свои жертвы. Иногда Карташеву вдруг даже страшно делалось от сознания своего одиночества. В этом большом городе было тяжелее, чем в пустыне. Там хоть

знаешь, что никого нет, а здесь везде, везде люди, и в то же время никого, в ком был бы какой-нибудь интерес к нему. Заболей он, упади и умри – никто даже не оглянется. И Карташеву хотелось вдруг уложить свои вещи и бежать без оглядки от этого чужого, страшного в своем отчуждении города.

Но еще сильнее угнетали Карташева ужасные расходы и мысль, как же жить и как это все впереди будет? В этом большом городе деньги плыли так же быстро и неудержимо, как та вода большой реки, которую переплывал он в ялике, наведываясь в свой университет.

Сто пятьдесят рублей, данные ему на три месяца, таяли, как снег весной: прошла всего неделя, а в кармане осталось только девяносто... Он старался считать каждую копейку, но как ни считал, а к вечеру двух, трех, пяти рублей уже не было. Куда уходили они? Он ломал голову, вспоминал, и постепенно все расходы всплывали в памяти: конка, иногда извозчик, лодка, папиросы, завтрак, обед (никогда у него не было такого чудовищного аппетита!), газета, что-нибудь сладенькое... только на сегодня, конечно; хлеб к чаю утреннему и вечернему, непредвиденный расход по хозяйству, лампа, щетка; белье, чай, сахар и масса мелочей, которых ни в какую смету не введешь, но которые съедают много, очень много денег. Эти мысли о расходах, о необходимости быть экономным и это полное неведение, как же быть экономнее, окончательно отравляли все существование Карташева. Каждый день составлялась новая смета, и в конце концов Карташев в отчаянии говорил себе: «Нет, лучше все деньги истратить не учитывая, чем так мучиться. Ну, когда останется три рубля, накуплю хлеба и буду жить целый месяц. А потом? – поднимался со дна души мятежный вопрос. – Потом, – растерянно думал Карташев, – потом... Я умру, или что-нибудь случится, потому что нельзя же больше месяца вынести такой каторги...»

VI

Часто, гуляя, Карташев любовался с набережной на выглядывавшее красное здание университета.

Что-то чужое, что он обидно почувствовал в университете в дни приемных экзаменов, уже изгладилось и снова уступило место потребности любить и привязаться всей душой к тому, к чему фантазия и мысль так давно и так жадно стремились. Это его университет, и все в нем хорошо: и длинный двор, и палисадник, и полукруг подъезда, и даже этот узкий, в красный цвет окрашенный фасад.

Скоро начнутся лекции, а с ними и настоящая студенческая жизнь, общение с профессорами, сходки, разговоры о лекциях-и прочитанном, выводы... о! это будет хорошо, как ванна, которая сразу отмоет его, освежит, разбудит... Тогда и денег некуда расходовать будет...

Наступил наконец и давно ожидаемый день начала лекций. Торопливо, с раннего утра Карташев умывался, одевался, смотрелся в зеркало и наряжался в свое лучшее платье.

Было прекрасное, почти морозное утро. Умытое ярко-синее небо охватило своими нежными объятиями город со всеми его домами, башнями, золотыми куполами. Лучи солнца заставляли весело, ярко сверкать эти купола в свежем утре.

Несся глухой гул.

Вот пустая еще Морская – мягкая мостовая и смолистый сырой аромат, этот возбуждающий, бодрящий аромат в осеннем воздухе.

Вот и Нева. Плавно и беззвучно катит она свои воды, вся скованная гранитом, громадными домами, с целым лесом в туманной дали мачт и судов. Лошадь гулко стучит по Дворцовому мосту, в сердце радостно замирает при взгляде на знакомое красное здание.

Лекции сразу начинаются знаменитым профессором. Серьезные, озабоченные фигурки одна за другой торопливо исчезали в громадных входных дверях. Здесь, в этой толпе, будущие министры и писатели.

Карташев спешно, судорожно рассчитывался с извозчиком, и вихри мыслей пронеслись в его голове. Он точно видит вдруг всю головокружительную высоту человеческой жизни. Кто, кто взберется на вершину ее? Тот ли маленький, тихий, глаза которого, как две звездочки, ясно смотрят на него в это мгновение, или этот в золотом пенсне, подкативший на собственном рысаке? Да, жизнь в этом большом городе не такая простая вещь, какой казалась там, в знакомой обстановке милой родины.

Карташев, раздевшись, быстро влетел по лестнице и, остановившись на площадке второго этажа, заглянул в открытую конференц-залу. Там было тихо, спокойно, и вся зала, со всеми своими стульями и хорами, точно спала еще.

Зато с левой стороны из коридоров и аудиторий уже несся шум тысячной толпы.

Карташев прошел по коридорам, заглянул в аудитории, разыскал свою, громадную, большую, с окнами на север, темную, с полукруглыми рядами амфитеатром расположенных скамеек, попробовал присесть на одной из них и опять вышел в коридор.

Возбужденное и праздничное настроение Карташева опять сменилось знакомым уже чувством пустоты и неудовлетворенности. Лица толпы были неприветливы или равнодушны. Встречавшийся взгляд или безучастно осматривал его фигуру, или смотрел угрюмо и даже враждебно.

В общем, это была все та же отчужденная толпа улицы, вызывавшая гнетущее ощущение. Так же на каком-нибудь гулянье, на Невском, равнодушно смотрели и проходили дальше. Здесь даже было что-то худшее: точно собрались конкуренты на одну и ту же должность, собрались и уже меряли своих противников, скрывая это под личиной равнодушия, пренебрежения, высокомерия и раздражения. Это уже не гимназическая толпа и не гимназические товарищи.

В гробовой тишине прозвучали глухо первые слова профессора:
«Милостивые государи!»

Точно яркая молния осветила повеселевшего вдруг Карташева. Это он-то милостивый государь? Но кто же другой? Конечно, он, студент петербургского университета. Не гимназист, а студент; не мальчишка, а молодой человек, пришедший вместе с другими сюда узнать то, что поведает ему этот знаменитый старик. И только для этого и больше ни для чего пришел и он, и все другие сюда, и все остальное – такая мелочь... пошлая и глупая... Радостное чувство охватило Карташева, и он вдруг впервые ощутил какую-то тесную связь с этой толпой. Нет, все-таки это уже не толпа улицы, это его толпа. Эта аудитория тоже не улица – это источник света, знания. Он молодой, во цвете сил, и перед ним длинная жизнь, и все, все будет в ней зависеть от того, какой фундамент успеет заложить он в эти, в сущности, короткие дни своего учения. О, надо слушать обоими ушами, слушать и не терять ни одного дорогого слова!

Но прежде всего надо было привыкнуть слушать. Сперва слова сливались в какой-то один неясный гул. Но мало-помалу звук стал яснее, и Карташев уже различал слова и отдельные предложения. На этом, впрочем, пока все и остановилось. Карташев слушал, различал слова, группировал их в предложения, вникал в смысл, а профессор в это время говорил уже что-то новое. Карташев бросал старое, хватался за это новое, напрягался изо всех сил, точно бежал запыхавшись. Казалось сперва, что все шло хорошо, но вдруг опять он спотыкался обо что-то, и в его голове все собранное сразу разлеталось.

Чем дальше шла лекция, тем все напряженнее и глупее чувствовал себя Карташев. Точно он слушал не энциклопедию права, а какую-то высшую математику, ряд непонятных, бог весть откуда взявшихся формул.

А между тем профессор читал только еще вступление к предмету, ко всем этим всевозможным философским системам от Фалеса до Тренделенбурга, собирался только приступить к пространному введению о методах диалектическом, органическом, историко-генетическом. Этот последний был его собственный метод, и Карташев смотрел с широко раскрытыми глазами и думал, в какую бездну надо погрузиться, чтобы не только понимать, а еще и изобрести этот какой-то страшный метод.

Прочитав час, профессор ушел и через несколько минут опять возвратился. Карташев с новым напряжением принялся слушать, опять магически кольнуло его «милостивые государи», и опять он точно погрузился сразу в какой-то бездонный хаос. Утомленный, он еще меньше понимал теперь.

«Но ведь я, – думал с отчаянием Карташев, – даже Бокля читал, читал Добролюбова, Чернышевского, Флеровского, Щапова, Антоновича, Писарева, Шелгунова, Зайцева, а вот этого не понимаю. Я считался одним из способных, математика всегда для меня была легким предметом. Профессор на поверочном экзамене по словесности, как только я заговорил о Шишкове, о школе Кочановского, пришел в восторг. А посмотрел бы он теперь на меня – каким дураком я сию... А другие, – они понимают?»

Карташев внимательно всматривался в лица слушателей. Одни были напряжены, другие без всякого выражения равнодушно смотрели в лицо профессору, третьи что-то чертили и двое-трое старательно записывали. Записывать в надежде сосредоточиться попробовал было и Карташев, но из этого ничего не вышло.

Он уже знал, что ничего не поймет, и думал только о том, чтобы придать своему лицу такое же выражение, как у всех. Он чертил петушка, отрываясь, делал вдруг вдумчивое лицо и, смотря в потолок, кивал головой. И в то же время он то и дело смотрел потихоньку на часы.

Никогда в гимназии так мучительно не ползло время. Боже мой, еще целых двадцать минут осталось. Разве уйти?! будто на минутку только вышел, а там и поминай как звали. Туда, на улицу, где шум, жизнь, где свежий воздух, а здесь... здесь точно воздуха не хватает. Еще десять минут: надо посидеть. Мимоходом, идя в аудиторию, он видел внизу буфет, стаканы с

чаем, большие бутерброды с свежей ветчиной. Пока все сидят здесь, захватить там поудобнее место... Нет, надо дослушать.

Карташев опять внимательно уставился в профессора. И вдруг произошло что-то странное. Профессор, относительно которого Карташев решил, что так никогда и не услышит от него ничего понятного, заговорил вдруг простым и самым обыкновенным языком:

– Милостивые государи, я кончил сегодняшнюю лекцию... Каждый год для одних я начинаю их первую лекцию, для других – кончаю их последнюю... Для вас, милостивые государи, новых граждан вашей «alma mater»¹, в свою очередь начинается новый период вашей жизни, лучший период, господа. Свет той идеальной правды, которую, если вы захотите, вы будете жить в этих стенах, вспомнится вам в жизни... Там, за этими стенами, вас ждет иная жизнь, ждет тяжелая и неравная борьба за этот свет. Силы для этой борьбы вы почерпнете только здесь, у своей alma mater, милостивые государи, в этом universitas literae literarum...² И, озаренные этим светом, не раз за мирными стенами этого здания повторите вы, милостивые государи, вместе со мной слова великого поэта:

*So gieb mir die Leiden wieder,
Da ich noch selbst im Werden war!*³

Голос старого профессора гулко задрожал, и с ним, казалось, задрожал воздух и холодные стены большой аудитории, задрожали молодые сердца молодых его слушателей... Что-то вдруг точно посыпалось, гром дружных аплодисментов огласил аудиторию.

Карташев обезумел: не помня себя, он аплодировал и кричал: «Браво, браво...»

Давно прекратились аплодисменты, и теперь все смотрели на него. Карташев вдруг смущенно оборвался. В его воображении нарисовалась его комическая фигура в узком сюртуке, отчаянно кричавшая не идущее к делу театральное приветствие.

Карташев с замершим полукриком бросился в коридор.

Застегивая на ходу пальто, он уже шагал по панели так, точно кто-нибудь гнался за ним.

¹ матери-кормилицы (лат.).

² средоточии наук (лат.).

³ Так возврати те дни мне снова, когда я сам в развитии был! (нем., перевод А.Фета.)

VII

Приехавши в Петербург, Корнев оставил на вокзале вещи и отправился прямо на Выборгскую искать себе квартиру.

– Ну, вот и отлично, – проговорил он в первой же квартире, в третьем этаже, услышав объявленную цену – восемь рублей. – Вам оставить задаток? – обратился он к маленькой, чистенькой старушке, квартирной хозяйке, в черном платье и черном чепчике.

– Да, конечно, если вам понравилась комната.

Комната понравилась.

Из маленькой, светлой, продолговатой передней, прямо против входных дверей, и была его комната. Окнами она выходила на восток, и так как перед домом был пустырь, то из окна открывался далекий вид на Неву и на город.

Небольшая комната была светла, а желтенькие обои прибавляли, казалось, еще больше света. Незатейливая обстановка: кровать, комод, письменный стол и три стула – не блистала роскошью, но все было достаточно чисто, достаточно уютно и, главное, недорого.

Корнев поехал назад на вокзал за вещами и часа через два уже сидел в своем новом жилище.

Он обстоятельно расспросил хозяйку, где купить ему чаю, сахару, в какой кухмистерской обедать и где абонироваться на чтение книг.

Узнав все, Корнев оделся и отправился исполнять свои дела по хозяйству.

Кухмистерская, где подавались два блюда за двадцать копеек, пришлась ему по вкусу и едой и обществом, состоявшим почти исключительно из студентов-медиков и молодых девушек, которые собирались поступить или уже поступили на разные курсы. Тут же в кухмистерской он познакомился кое с кем из поступающих сверстников и узнал, что приемные экзамены начнутся через две недели.

Вечером, после чая, Корнев, лежа на кровати, то читал какую-то статью, то, отложив книгу, грыз ногти и думал.

В одиннадцать часов он кончил чтение, разделся, потушил свечку и заснул с тем особым удовлетворением, с каким засыпает человек в первый раз на новом и притом желанном месте.

Утром на другой день он занялся приведением в порядок своих вещей: вынул из чемодана белье, платье, книги. Белье и платье спрятал в комод, аккуратно выстлав дно комода простынями, а книги уложил на письменном столе.

Приведя все в порядок, он сел и написал письмо домой, извещавшее родных о благополучном его прибытии в Питер, о том, что он уже поселился на своей квартире, обедает в кухмистерской и что экзамены начнутся через две недели.

Кончив письмо, Корнев посмотрел на часы. Был уже час – время, назначенное им для обеда, и он отправился в кухмистерскую. Там он быстро – это делалось как-то само собой – завязал еще новые знакомства, и так как разговор коснулся интересных тем, то после обеда он еще долго оставался в кухмистерской.

VIII

Под вечер к Корневу приехал Карташев и привез с собой разных южных лакомств.

– Дома? – раздался в передней знакомый голос Карташева.

– Дома, дома, – ответил весело Корнев и отворил свою дверь.

Карташев ввалился в комнату и, раздевшись наскоро, стал выкладывать на стол: халву, финики, виноград. Корневу вдруг сделалось так весело, как давно уже не было.

– Ооой! – завыл он и повалился на кровать.

– Ура! – подхватил Карташев и, бросив лакомства, улегся рядом с Корневым.

Приятель давно не видался и чувствовал себя в эту минуту так же уютно и хорошо, как когда-то в доброе старое время. Вспомнилась вдруг деревня, Наташа, гимназия, и показалось все кругом беззаботным продолжением прежнего. Лежавший Карташев был для Корнева как бы реальным воплощением этого прошлого, – Карташев, все такой же избалованный и раскинутый, и спутанный и искренний, что-то размашистое и неустойчивое, а в общем все тот же Карташев, который меньше всего сам знал, куда и как ткнет его судьба или то что-то, что распоряжалось им всегда и везде.

Корнев поднялся на локоть и благодушно смотрел на приятеля.

– Первая лекция была, – произнес загадочно и с некоторым достоинством Карташев.

– Ну? – спросил Корнев веселым подмигивающим тоном, которому Карташев не мог противиться.

Он, когда ехал к Корневу, решил умолчать о всех своих разочарованиях.

– Ничего не понял! – выпалил Карташев неожиданный для себя ответ.

Дальнейшие вопросы и ответы происходили в промежутках все более и более подмигивавшего обоим смеха.

– О чем он читал?

– А черт его знает!

– Оой?! Что ж ты будешь делать?

– Куплю сло-о-ваарь!

– Завтра пойдешь?

– Нет!!

Оба приятеля выли и стонали от нестерпимых колик.

Когда наконец водворилось спокойствие, которого страстно жаждали сами несчастные жертвы смеха, Корнев, вытирая слезы, сказал:

– Положительно не помню, когда я так смеялся.

Вечер прошел в разговорах, в куренье, в лежании по очереди на кровати, наконец приятели улеглись рядом.

– В этом доме дают чай? – спросил Карташев.

– Как же, – ответил Корнев, отрываясь от своего обычного занятия – грызения ногтей – и стуча кулаком в стену.

На стук вошла громадного роста краснощекая, в невероятно больших и тяжелых ботинках, простая деревенская баба, нанятая хозяйкой для исполнения обязанностей горничной.

Став как-то боком в дверях и слегка прикрывая лицо передником, Аннушка смотрела так, как будто не сомневалась, что оба вдруг вскочат и, бросившись к ней, начнут ее щекотать.

– Ну? – спросила она, и живот ее вздрогнул.

– Произведение природы, – заметил Корнев и, сосредоточенно постучав пальцем о стену, сказал: – Во!.. Подойдите сюда ближе, мое сокровище...

Горничная нерешительно подвинулась.

– Аннушка, я должен вам сказать, к величайшему моему прискорбию, что вы... Подойдите сюда ближе и не бойтесь: вас никто не тронет.

Аннушка медленно подходила и весело в упор все смотрела на Корнева.

– Что смеетесь?

– Вы неисправимы, милая Аннушка, – сказал Корнев, – вот вам деньги: купите два фунта хлеба и фунт колбасы... самовар поставьте... поняли?

Аннушка взяла деньги и, успокоенная, направилась к двери.

В дверях она остановилась и, весело покосившись на молодых людей, взвизгнув: «Ишь жеребцы стоялые!» – скрылась при новом взрыве смеха.

Аннушка и в продолжение остального вечера не переставала забавлять приятелей своими выходками. В одно из своих появлений, в ответ на новый смех, она подперлась рукой и со вздохом сказала:

– Ну, что ж? я женщина молодая, известно... Что и не поговорить? Муж у меня плохой: хворый да недужный.

И вдруг, перейдя опять в веселый, лукавый тон, она кончила:

– Ишь жеребцы... пра-а...

– Если хочешь, она в своей колоссальности и недурна собой, – сказал Карташев, когда она ушла.

– Ну, – пренебрежительно махнул рукой Корнев.

– Ее бы на арку Большой Морской.

– Вот именно... Что ж, ты так-таки ни с кем и не познакомился в университете?

– Решительно ни с кем, – ответил Карташев.

– А я здесь уже кое с кем свел знакомство.

– Ну?

– Да кто их знает... всё, конечно, наш брат... топчутся они на том же, на чем и мы когда-то...

– Неужели ничего нового?

– Кажется, желание на стену лезть.

– Но ведь это же бессмысленно.

– То есть как тебе сказать...

– Вася, да, ей-богу же, это мальчишество. Прямо смешно... Здесь особенно, в Петербурге, так ясно... Что ж это? Только шутов разыгрывать из себя...

Корнев грыз молча ногти...

– Да, конечно, – нехотя проговорил он. – А все-таки интересная компания, их стоит посмотреть... Оставайся ночевать... Пойдем завтра в нашу кухмистерскую.

– С удовольствием.

– Смудишь ты их разве своим костюмом...

– Что ж такое костюм? Я и перчатки надену.

– Только ты все-таки будь осторожен, а то ведь у них язычок тоже хорошо действует.

– А мне что?

– Сконфузят.

– Ну...

– Есть и барышни...

– Конечно, – все дураки, кроме них?

– Послушай, откуда у тебя вдруг эта нотка? не платки же они таскают из кармана... Нет, ты брось это раздражение...

– Можно создать и более реальные интересы...

– Какие?

– Вот поживем, – ответил Карташев.

Корнев пылливо посмотрел на него и раздумчиво пробормотал:

– Дай бог...

– Вася, согласишься с одним: у них узко... а все, что узко, то не жизнь... Может быть, я и ошибаюсь, но я не хочу верить на слово – я хочу сам жить и убедиться.

– Но что такое жизнь? Надо же ей ставить идеалы.

– Но взятые из жизни.

– А если эта жизнь мерзопакостна?

– Неужели так-таки вся жизнь мерзопакостна? Я не верю... Я иду в жизнь... ставлю свои паруса, и что будет...

– Без компаса?

– Мой компас – моя честь. Я вчера у Гюго читал: он говорит, что двум вещам поклоняться можно – гению и доброте... Честь и доброта, – Васька, право, довольно и этого!

– Посмотрим... Конечно... А интересно – лет через десять что выйдет из нас? Конечно, жизнь не линейка – взял да провел черту... Я вот думаю: что из тебя выйдет?

Корнев подумал:

– Глупое, в сущности, наше время... Развития в нас настоящего нет... В сущности, туман, большой туман у всех...

На другой день Корнев повел Карташева в кухмистерскую.

Прием ему был оказан такой холодный и пренебрежительный, что даже Корнев смутился.

После двух-трех слов с Карташевым прямо не хотели говорить.

Карташев смущенно уткнулся в газету.

Злое чувство охватило Карташева. В это время в столовую вошло новое лицо, при взгляде на которое Карташев так и прирос к полу.

Это был худенький студент, в грязном потертом вицмундире, на плечах и спине которого была масса перхоти, волосы на голове торчали черной копной, косые черные глаза смотрели болезненно и твердо. Черная бородка пушком окаймляла маленькое хорошенькое лицо, но, несмотря на бородку и мундир, это был все тот же маленький друг его – Карташева, друг, которого он когда-то...

– Иванов! – вырвалось из груди Карташева и сейчас же заменилось сознанием и прошлого, и отчужденности своей здесь, в этой кухмистерской.

Иванов внимательно, спокойно всмотрелся в Карташева, как во что-то, ради чего должен оторваться хоть на мгновение от своего главного, что теперь поглощало все его помыслы...

– А-а, Карташев...

Это было сказано так, что Карташев почувствовал, что перед ним стоит чужой человек.

Одна страстная мысль овладела им в это мгновение: прочь, скорее прочь отсюда.

– Кончил? – спросил его между тем Иванов.

Кончил, конечно, гимназию...

– Да, кончил, – сухо, испуганно ответил Карташев.

– Куда же? В путей сообщения? – рассеянно спросил Иванов.

Карташев сдвинул брови.

– Хотел, но струсил, – вызывающе ответил он.

– Что же так?

К Иванову один за другим подходили, здоровались и незаметно увели его в другую комнату.

Карташев торопливо одевался.

Корнев молча, уже одевшись, наблюдал его и грыз ногти.

– Ко мне пойдешь? – спросил Корнев.

– Нет, домой, – ответил, не смотря на него, Карташев и, торопя взятого извозчика, с тяжелым чувством поехал прочь от негостеприимных мест Выборгской стороны.

IX

На вступительном экзамене Корнев провалился на латыни. Тем не менее, судя по предыдущим годам, была надежда, что в академию его все-таки примут.

Неудача подействовала на него самым подавляющим образом. Удачу, неудачу он не признавал.

– Неудачник, – рассуждал он, – это чушь. Есть способности – выбьется человек из всякой мерзости, а нет – значит, чего-нибудь не хватает.

Чего у него не хватало?

Он попробовал развлечься Петербургом, но громадный и чужой Петербург давил и его, как Карташева, внося еще больший разлад в его душевный мир.

Где действительно истина? В этой ли кипучей жизни или в том духовном стремлении к чему-то высшему, чем жил когда-то он и весь кружок его, чем живет большинство тех, которых он видит теперь вокруг себя на Выборгской? Но тогда – отчего в этих кружках почти нет студентов старших курсов? Это как бы подтверждало его мысль, что он уже успел пережить то, что переживается кружком кухмистерской. Но в то же время он чувствовал, что знает о них не все и от него как будто что-то скрывалось.

Таинственная обстановка, которая окружала Иванова, была для него неясна, и он усиленно грыз ногти и думал, думал. Думал, в сомневался, и становился в тупик, кто же он, наконец: практик, идеалист или просто-напросто жалкая, богом обиженная посредственность? Он был уверен, что после экзаменов на него так и смотрели все его новые сотоварищи.

– Ну и черт с тобой! – говорил он сам себе.

Он не хотел сам себя знать, и тем обиднее было, когда в голову лезли разные, в сущности, нелепые, унижительные, даже с его точки зрения, мысли. Он знал их и сам возвращался к ним.

Одна из таких мыслей была о его некрасивой физиономии и о том, можно ли нравиться с такой физиономией женщинам.

Он ходил по улицам, поглощенный своими большими вопросами, и в то же время часто, всматриваясь в лица прохожих, тоскливо думал: «Даже эта рожа лучше моей». Иногда он заглядывал в свое маленькое кривое зеркальце и возмущенно говорил себе:

– Господи, да чтоб с этакой рожей надеяться нравиться, надо быть просто идиотом!

Сомнительным для него было только отношение к нему одной Наташи Карташевой. Как ни отбрасывал он все то, что могло быть отнесено к области его собственной фантазии, все-таки в их отношениях оставались такие мгновения, которые, при всем старании опровергнуть, он должен был истолковать в свою пользу. Но и тогда Корнев возмущенно говорил себе:

– Совершенно непонятное явление, просто один из тех болезненных, капризных моментов, когда именно безобразное лицо может как будто нравиться.

И он задумчиво смотрел в окно.

Там, за окном, день подходил к концу, последние лучи играли в туманном воздухе на далеком куполе Исаакия. Было пусто и в этом уходящем дне, и в комнатке. Какая-то далекая, тихая грусть щемила сердце. Там, далеко, в этом большом городе, словно тонет в тумане, словно замирает размашистая, грандиозная жизнь дня, чтоб с огнями вечера опять вспыхнуть с новой силой в разных театрах, собраниях... Там, в той жизни, какая нужна сила, какая мощь, чтобы выплыть на ее поверхность? Там Карташев, Шацкий уже готовы вот-вот броситься в этот водоворот – и не боятся... а он одинаково робкий и чтобы вместе с ними броситься в этот кипучий поток, и чтобы примкнуть ближе к кружку Иванова... А жить так хочется, и так болит сердце от этой пустоты, от сознания своего бессилия, ничтожества... Улетел бы в эту даль, туда, в позолоту лучей догорающего дня, которые точно неумолчно говорят о чем-то душе, будят и зовут ее из тоскливой пустоты удручающих мыслей о своем бессилии... И такая вся

жизнь! – пустая, скучная, бессильная, раболепная перед каждым нелепым случаем, трусливая пред каждым столкновением, унылая, всегда только грубо ремесленная.

Корнев не заметил, как тихо отворилась дверь и всплыла Аннушка.

Он пришел в себя, когда громадная Аннушка, обхватив его своими объятиями сзади, произнесла вдруг:

– И что он это все думает?

– Убирайтесь вон!!

– Господи! – только успела вскрикнуть Аннушка и скрылась из комнаты.

Корнев не мог прийти в себя от неожиданности и возмущения. Еще только недоставало именно Аннушки! Вот достойная его компания...

Но прошло некоторое время, и Корнев стал думать иначе. Он поймал самого себя на высокомерии и, остановившись, задал себе вопрос: «А почему и недостойна она меня? Что я за паца такал и куда постоянно лезу с суконным рылом? Да, может быть, она, простая, в тысячу раз лучше меня, ломаного, искалеченного, меня, для которого мое дурацкое знание и мой жалкий самосознающий ум только источники вечного унижения? Да, наконец, ну что такое в самом деле Аннушка? Простой, добрый человек, как умеет выражающий свои чувства».

Корнев постучал кулаком в стену.

Когда вошла Аннушка, он ласково сказал:

– Самовар дайте, пожалуйста.

– Ишь как напугал, – весело ответила Аннушка.

Корневу было приятно, что она не поставила ему в вину его резкость.

Когда Аннушка приносила ему поднос с посудой и затем самовар, он хотел быть с ней ласковым, хотел что-нибудь сказать, но не решился, и только, когда та принялась готовить ему постель, он, проходя мимо и слегка хлопнув ее по широкой спине, проговорил:

– Ишь здоровая...

В ответ на это Аннушка, почувствовав, что ветер подул с другой стороны, ответила важно:

– Не балуй.

– Вот как, – фыркнул себе под нос Корнев.

Настал длинный, скучный вечер. Корнев напился чаю, принялся опять было читать, но не читалось; вспомнил о том, что, может быть, придется уехать, прогнал эту мысль и все остальные, которые по ассоциации идей поползли было в голову, и стал ходить по комнате, желая жить и думать только о настоящем. Это настоящее воплощалось в этот вечер в громадной Аннушке. Ее тяжелые шаги, глухо раздававшиеся там где-то в лабиринте темных коридорчиков, раздражали нервы Корнева. Он останавливался, прислушивался и опять ходил. Иногда он точно просыпался вдруг, его охватывало какое-то омерзение, и он быстро садился за книгу. Но опять вставал и опять начинал нервно, тревожно шагать.

Мысль о возможном сближении с Аннушкой охватывала его все сильнее больной истомой. Чувствовалось какое-то унижение в этом, но этого ему и хотелось сегодня. Он ложился на кровать, его грудь тяжело подымалась, кровь, как расплавленная, переливалась в жилах и молотом била в голову. Было уже двенадцать часов ночи. Корнев разделся и потушил лампу. Давно все стихло...

Но вот, чу! точно пол скрипнул... точно тени задвигались по комнате, словно паутина опутала лицо и мысли... Весь охваченный, Корнев протянул руку и наткнулся на голую громадную руку наклонившейся к нему Аннушки...

Пробуждение Корнева на другой день было странное: и легкое и тяжелое. Точно в нем сидело два человека и один пытливо и злорадно спрашивал: «А теперь что?» Другой же равнодушно, пренебрежительно отвечал: «Ничего»...

Он лежал грустный, задумчивый, с каким-то легким в то же время ощущением, – точно несколько лет ему с плеч сбавили.

Дверь отворилась, и Аннушка вошла в комнату. Она была в новом платье, новом фартуке, и на лице ее был праздник. Она остановилась, взялась за бока и вполоборота спросила лукаво:

– А муж? – и тяжело вздохнула.

Корнев, не ожидавший ничего подобного, лежал и растерянно молчал, угрюмо сдвинув брови.

Но Аннушка, у которой переходы были быстры, уже вытирала передником губы и веселым голосом говорила:

– Ну, поцелуемся... Сегодня ведь мой рожденный день...

Она наклонилась к Корневу и толстыми мягкими губами, с ароматом своей деревенской избы, залепила Корневу сразу и губы, и глаза, и весь мир, поставив его властно только перед собой одной – колоссальной Аннушкой.

– Хорошенький ты мой! – тихо прошептала она и со вздохом удовлетворения вышла из комнаты, оставив свою жертву пластом лежать на кровати, с закрытыми глазами.

Корнев долго лежал.

– Ну, все равно, – облегченно сказал он наконец, поднялся и начал быстро одеваться.

Напившись чаю, он вышел на улицу. День был на славу. В академии Корнева ждала приятная новость: он был зачислен в число студентов.

Х

Карташев сделал еще несколько попыток одолеть лекции энциклопедии, достал даже Гегеля, собираясь читать его в подлиннике, но все это как-то ни к чему не привело. Он кончил тем, что перестал посещать лекции знаменитого профессора, а Гегель так и лежал почти нетронутый, пугая Карташева своим видом.

Лекции других профессоров также не привлекли к себе его внимания.

Римское право показалось ему продолжением латинского языка и во всяком случае таким, которое требовало простой зубрежки, а потому Карташев и решил, что время, потраченное на слушание, можно провести производительнее, посвятив его прямо зубрению всяких латинских текстов римского права.

Приступить к этим текстам он все и собирался изо дня в день.

Русское право было понятно, но профессор читал тихо и снотворно, и на Карташева нападала такая неожиданная дрема, что он перестал посещать и эти лекции, объясняя свое отсутствие на них страхом заснуть и тем поставить себя в безвыходное положение.

«Зачем я буду рисковать скандалом? Лучше же дома прочесть: благо слово в слово читает».

Наконец, лекции государственного права пришлось по вкусу Карташеву, но здесь уж были другие причины, по которым он редко бывал на них. Во-первых, чисто финансовые – посещение университета стоило денег: извозчик, завтрак с бутербродами... Во-вторых, из трех лекций в неделю по государственному праву две начинались в девять часов, то есть как раз в то время, когда Карташеву невыносимо хотелось спать. А в-третьих, литографированные лекции и по государственному праву существовали, следовательно, и их можно было прочесть.

Понемногу Карташев так разоспался, что вставал часов в одиннадцать. Вставши, пил чай, читал газету и задумывался над тем, что ему предпринять: сесть ли за лекции, написать ли домой письмо или заглянуть в университет? Последнее наводило на мысль о финансах, и он с тоской в душе начинал пересчитывать свои капиталы. Их невероятное уменьшение повергало его в новое уныние. Он садился составлять еще новую смету. Но сколько-нибудь вероятная смета уже настолько превышала наличность, что Карташев скоро бросал это дело и шел обедать. После обеда читал газету, валялся на диване и нередко засыпал, укрытый газетой.

Вечером он пил чай, и если не приходил Ларио, то отправлялся в театр скромно, – куда-нибудь в галерею.

Если же заходил Ларио, то они сидели, разговаривали, а иногда отправлялись вдвоем на вечерние прогулки по Вознесенскому и Мещанским. Тихий, сдержанный и молчаливый, Ларио делался бойким на улице, его «го-го-го» звонко несло по Вознесенскому, он заигрывал с проходившими девицами полусвета, подпрыгивал перед ними, визжал и бойко неестественным голосом парировал их замечания.

Ларио не раз звал Карташева отправиться к Марцынкевичу, но тот от такого посещения наотрез отказывался.

– Почему же? Ведь там тебя же... Странно...

Ларио коробило, как он говорил, «жантильничанье»⁴ Карташева. Он шутивно кипятился и фыркал, затрудняясь объяснить Карташеву безопасность такого посещения для него.

– Ведь ты же не девушка, наконец.

Ларио презрительно пускал свое «го-го-го».

Кончалось тем, что Ларио говорил:

– Ну и черт с тобой, я бы пошел, если бы у меня была рублевка.

⁴ жеманство (от франц. *gentil*).

– Возьми, – предлагал Каргашев.

После некоторого колебания Ларио брал.

– Как получу урочишко, первое, Тёмка, что сделаю, – куплю почетный билет в Марцынку... билет три рубля стоит, и тогда за вход всего двадцать копеек, а так – по рублику каждый раз пожалуйста.

– Если хочешь, возьми три.

– Ну, что ты! Да я вот сегодня только, а там до урока – ни-ни...

XI

Прошел месяц со дня приезда Карташева в Петербург.

Как-то раз выходя из конки, скучавший и томившийся Карташев встретился неожиданно лицом к лицу с долговязым Шацким. Шацкий, расставив ноги, весело смотрел на Карташева: тот же шут, несмотря на путевскую фуражку, с маленьким румяным лицом, веселый и возбужденный. Карташев очень обрадовался ему.

– Здравствуй, здравствуй, – заговорил снисходительно Шацкий.

Карташев, хотя и не был с ним на «ты», ответил ему весело:

– Здравствуй!

– Ну-с, мой друг, как поживаешь? – спросил покровительственно Шацкий. – Откуда?

– С лекций.

– О! Куда теперь?

– Обедать.

– К Детруа, конечно?

– Да.

– Да, да... Ростбиф из конины, огурцы с купоросом... да, да. Твой живот?

– Каждый день понос.

– Да, да: пока ешь – вкусно; кончил, в брюхе кол, через полчаса после обеда опять есть хочется, а вечером расстройство... Соппи...⁵

Карташев рассмеялся.

– Совершенно верно.

– Ну, вот что, мой друг, – продолжал Шацкий, – не хочешь ли сегодня отобедать со мной у Мильбрета, – на четыре рубля дороже в месяц, но сохраняется желудок...

– Что ж, с удовольствием.

– В добрый час! Так что ж, возьмем извозчика... эй, ты, Мильбрет – гривенник...

Извозчик не согласился.

– Пятиалтынный...

– Дай ему...

– Ни за что!

Извозчик был наконец нанят.

– Я, знаешь, – начал Шацкий, садясь и принимая тот шутовской тон, за который так недолюбливал его Корнев, – долго колебался – где абонироваться... хотел у Дюссо, но там хуже...

Карташев усмехнулся.

– Ну, конечно...

– Чтоб ты знал, что хуже, – быстро и опять естественным тоном заговорил Шацкий, – я тебе открою, в чем тут секрет: Мильбрет скупает придворные обеды, а согласишься, мой друг, что эти обеды лучше всяких твоих Дюссо... очень, очень мило. При моем желудке, знаешь, – Шацкий опять впал в шутовской тон, – немного изнеженном после вод в Спа, наконец, при моем положении, знаешь, эти друзья: маркиз де Ривери, барон Гавен и много других – это всё добрые ребята – неловко, знаешь, когда пойдет разговор об обеде, и скажут вдруг: «А вы заметили, какое оригинальное фрикасе сегодня было?» И вдруг стоишь как дурак – где фрикасе, какое фрикасе?!

Шацкий уже на выпускных гимназических экзаменах завоевал себе право говорить и действовать так, как ему заблагорассудится. Здесь, в Петербурге, где он уже успел и доказать

⁵ Известно... (франц.)

свои способности, поступив вторым в трудное по приему заведение, и выглядел, кажется, единственным веселым человеком, – этот Шацкий производил на Карташева впечатление уже не того идиота, каким окрестил его Корнев. Теперь это был, правда, шут, но остроумный (с этим соглашался и Корнев) и главное – без претензии человек.

Карташев давно уже держался за бока от смеха.

– С тобой, однако, очень весело, – проговорил он. – В гимназии...

– Все это прекрасно! – ответил небрежно Шацкий. – Только оставь, ради бога, гимназию... При моих нервах гимназия – это плохое лекарство. Забудем ее, мой друг, и всех этих Корневых, Долб... Мы с тобой «high life»⁶, ты, надеюсь, знаешь, что значит это слово? Ну, конечно. Но еще выше этого есть. Du chien, hanche! А мне необходимо ехать в Париж на скачки, мой друг Nicolas... Ну, ты, конечно, знаешь, кто это именно?

Шацкий посмотрел на опешившую немного физиономию Карташева и залился сам веселым смехом.

Карташев рассмеялся.

– Parfait, mon cher!⁷ из тебя выйдет толк. Я люблю таких, которые смеются, когда ничего не понимают. Не торопись обижаться – ты позже поймешь смысл моих слов. Да, мой друг, жизнь – это большая загадка, и дурак тот, кто тратит время на ее разбор, потому что, пока он вникнет в суть, жизнь пройдет у него между пальцами, и он только: а-а-а... как Вася, твой Корнев. Если б он здесь был, он погрыз бы ногти и сказал: «Да, это верно», – и прибавил бы: «А впрочем, я, может быть, и ошибаюсь»... c'est ça⁸. Таковы все мудрецы от Фалеса до Тренделенбурга, которых ты теперь изучаешь и, конечно, ни в зуб не понимаешь – сопни, сопни! Все они начинают с того, что отрицают предшественника; с важным видом нагородив всякой ерунды, умирают, а ты зубри их... твоё положение грустное, мой друг... Бытие, небытие, становление – и в друг, трах, абсолют... A fichtre a blic!⁹

– Откуда ты все это знаешь?

– Мой друг, оставь это. Revenons a nos moutons¹⁰, как говорил мой друг Базиль... ты, конечно, знаешь моего друга Базиля?

– Я должен тебе откровенно сказать, – сказал Карташев, – что хотя ты и ерунду несешь, но я с удовольствием тебя слушаю.

– Да, да. Ты всегда был немного наивный, но добрый мальчик, хотя тебя и портит Корнев... О чем бишь я говорил?.. Может быть, перед обедом ты хочешь, как делают мои друзья, захватить поесть устриц или навестить Альфонсину? Ты, пожалуйста, не стесняйся, мой друг: мой экипаж к твоим услугам.

– Едем уж прямо к Мильбрету.

– Как хочешь, как хочешь! А напрасно! Этим не следует пренебрегать. Это очень важно, эти мелкие приличия, эти условия хорошего тона – свет не прощает их: ces petits riens qui ne valent rien, mais qui content beaucoup. Ид faut prendre, mon cher¹¹, там за кулисами ты можешь делать что хочешь, но на сцене... Моя покойная приятельница, princesse Natalie... – ты, конечно, ее не знаешь?.. нередко говорила мне: «Michel, прошу тебя во имя моей памяти, никогда не забывай, что свет...» Да, да, бедная Natalie, ты умерла, а я остался... да, остался... что делать, мой друг. Faisons notre metier¹², как говорил старикашка Виль. Кстати, ты, конечно, знаком с генералом Шайницем? Как? Ты не знаком? Мой друг, ты ставишь меня в неловкое

⁶ высший свет (англ.).

⁷ Прекрасно, дорогой мой! (франц.)

⁸ вот именно (франц.).

⁹ Черт возьми! (франц.)

¹⁰ Вернемся к нашим баранам (франц.).

¹¹ эти пустяки, которые ничего не стоят, но дорого обходятся. Нужно быть осторожным (франц.).

¹² Займемся своим делом (франц.).

положение... что же я скажу моим друзьям? Он не знаком! Впрочем, ничего, успокойся: дело можно поправить... Я устрою охоту. Я позову его... Там вы познакомитесь... Но, мой друг, прошу тебя: забудь ты на это время о своих деревнях: все эти вассалы, деревенские развлечения, поездка летом на санях, когда вместо снега посыпают соль, – все это вышло из моды, и ты никого не удивишь... Все знают, что вся Волынская губерния твоя... к чему же об этом распространяться? Вот если ты привезешь нам одну из твоих красавиц вассалок – этим ты много выиграешь... Но и это, как и все, мой друг, надо делать с тактом, очень тонко, *mon cher*. Ради бога... Я уж вижу... Тыходишь с ней в ложу... О мой друг, кто же так делает?! Ради бога! оставь ее... Ты с ней не знаком!! пойми, ты с ней не знаком!! Пусть она входит в ложу, пусть садится, делает, что хочет, – ты ее не знаешь до тех пор, пока граф Иван не скажет тебе: «Обратите внимание... Литера справа...» Мой друг, мы, люди большого света, мы ленивы на слова... Но я уж вижу, ты обрадовался... и с деревенской наивностью выпаливаешь, что это твоя вассалка... Ну, и пропало все... Ну, кто же так делает? Когда ты перестанешь меня компрометировать?! Я же не могу, ты пойми, пожалуйста, что я не могу! Я очень рад, что этот разговор пришел мне в голову именно теперь... Постарайся, если можешь, запомнить, что я говорю... А, это большое несчастье. Ваши деревенские головы устроены, как решето; эти грубые вещи: медведи, удобрение – остаются, но все эти тонкости проходят через вашу голову, как вода... Я понимаю, вы несчастные люди, запоминать вам наш этикет гораздо труднее, чем Бисмарку подчинить себе весь мир – вы напрягаетесь, стараетесь, но это не в вашей силе... но, мой друг, кураж, кураж¹³, зачем падать духом? Немножко воли... Наконец, ты можешь быть немножко и оригиналом. Свет допускает это... Ты можешь взять бриллиант *Nicolas* и сказать: «Хорошая вода...» Потом расстегнуть сюртук и небрежно приложить его к пуговицам своей жилетки... пуговицы, конечно, бриллиантовые... в три раза больше; потом, опять посмотрев, небрежно скажешь: «Хорошая вода», – положишь... Это будет, конечно, немного грубовато, по-деревенски, но оригинально... Да, мой друг, знание света – это дается не всякому... А впрочем... все это не важно... У тебя много денег?

Этот неожиданный оборот смутил Карташева.

– Тебе это на что?

– Мой друг, прими себе за правило: когда тебя спрашивают, то не для того, чтобы получить в ответ глупый вопрос, – это провинциальная и даже мещанская манера.

– Не находишь ли ты, что ты как будто впадаешь немного в нахальный тон? – спросил Карташев, сдвинув брови.

– Ты думаешь? – переспросил Шацкий и со вздохом умолк.

– Надеюсь, тебя не очень обидело мое замечание? – проговорил Карташев.

– Не будем больше говорить об этом, – меланхолично и рассеянно ответил Шацкий. –

Если бы меня обидели твои слова, я должен бы по нашим правилам сейчас же расстаться с тобой, и завтра утром мой друг *Nicolas* просил бы тебя сделать ему честь указать кого-нибудь из твоих друзей, с которыми он мог бы условиться относительно остального. Затем, в назначенный час, мы съехались бы в условленном месте, в черных, наглухо застегнутых сюртуках, протянули бы друг другу руки, как будто между нами ничего не произошло, и пока наши друзья заряжали бы пистолеты, мы говорили бы с тобой о погоде, о последних скачках, о мисс Грей... Ты знаешь ее? Рыжая? как собака, мохнатая, грязная, как свинья, ест обеими руками арбуз...

– Что ж тут красивого?

– Мой друг, ты ничего не понимаешь. Пойми, нам надоело это *ingenue*¹⁴, нам нужно что-нибудь этакое, острое... *Du chien*...¹⁵

¹³ смелей (от франц. *courage*).

¹⁴ простодушие (франц.).

¹⁵ С перцем... (франц.)

Шацкий помолчал.

– Ну и что ж? Ты скучаешь, томишься, по двадцати листов пишешь письма, врешь, конечно, что не отрываешься от лекций, и делаешь тонкие намеки, чтоб прислали денег? Пожалуйста, только не конфузься и старайся не врать... Побольше простоты. Оставим провинции ложь... Между порядочными людьми это не принято... Если бы я своим родным не писал о моих друзьях и занятиях, я не имел бы никакой надежды на примирение...

– Неужели ты пишешь им о всех этих графах и князьях?

– Что в этом тебя удивляет? Имена моих друзей не такие, что могли бы меня компрометировать в глазах моей родни... Только одно и смущает меня, что в конце концов забуду и перепутаю все эти фамилии...

И Шацкий залился самым веселым смехом.

– И верят? – спросил Карташев.

– Что за вопрос?! Я им и карточки послал с надписью. Ты понимаешь? Для поддержания таких знакомств нужны средства. Кстати, дай мне твою карточку и надпись сделай по-английски... Впрочем, зять знает твою руку, да и пишешь ты... Всё лишние расходы.

– На покупку карточек?

– Мой друг?! Три рубля пятьдесят копеек уже истратил. Последнего моего друга послал в шотландском костюме, кажется, Байрона...

– Но ведь отец твой, кажется, образованный человек.

– Дядя – да, а отец тридцать лет сеет хлеб, разводит свиней и выезжает лошадей. Газет ни-ни, и тридцать лет никуда из деревни, понимаешь?

В это время извозчик подъехал к Мильбрету. Большие комнаты, масса народу смутили Карташева. Заметив, что Карташев конфузится, Шацкий старался очень осторожно помочь ему справиться со своим смущением, принес целую грудку газет, подавал ему первому блюда и вообще оказывал столько мелочного внимания и так просто, без принуждения и подчеркивания, точно и сам не замечал, что делал. Карташев был очень тронут этой любезностью и думал: «Оригинал большой, но очень симпатичный. Корнев хороший человек, но у него есть известная предубежденность, которая мешает ему видеть вещи в их истинном свете. Он сам не замечает, как требует, чтобы все были по одному шаблону сделаны. Это, конечно, невозможно, с этим надо считаться. У каждого свое особенное. Я беру симпатичное, а до остального мне дела нет. Мне Шацкий симпатичен, и я не вижу основания уничтожать в себе эту симпатию. Да и какое наконец право я имею воображать себя почему-то выше и колоть этим глаза? А может быть, этот Шацкий гораздо выше меня, добрее и...»

Карташев хотел сказать – честнее, но вспомнил проделки Шацкого с родней.

«И тут не его вина – кто их там знает, какие у него отношения с родными и что они за люди. Да, наконец, не в жены же я его брать хочу. Мне доставляет удовольствие его общество... Одиночество невыносимо для меня, – я томлюсь, бегаю по всему городу, высунув язык от тоски, отвыкаю от своего голоса... Нет, окончательно решено – я сближаюсь с Шацким».

И Карташев открыто и ласково посмотрел на Шацкого.

– Мы очень редко с тобой видимся, а между тем, наверное, оба скучаем – я был бы очень рад, если бы мы видались почаще.

– Мой друг, за чем же дело стало? – ответил Шацкий и, церемонно встав, протянул руку Карташеву. – Может быть, поедем ко мне чай пить?

– Поедем лучше ко мне... Я жду письма.

– С удовольствием.

Новые друзья вышли на улицу, взяли извозчика и поехали к Карташеву.

Войдя в комнату Карташева и сняв пальто, Шацкий сел на диван и, качая пренебрежительно головой, заговорил:

– Так, так... образец петербургской квартиры, пять дверей в одной комнате и трескотня и резонанс такой, точно сидишь в табакерке с музыкой... Ничего нет удивительного, что десять, пятнадцать лет – и человека везут в сумасшедший дом... А впрочем, некоторые застрахованы от этого... твоего Корнева не свезут... Он, подлец, сам свезет. Не будем говорить об этом: это грустные мысли. Чай есть?

Карташев распорядился.

– Ну, что же, устроился? – спросил Шацкий и стал осматривать хозяйство Карташева. Он подошел к столу и небрежно тронул неразрезанные лекции Карташева.

– Наука не процветает... Да, да, надо немного забыть гимназию, чтобы опять какой-нибудь интерес почувствовать к этой несчастной науке... Небольшой, впрочем... Всё те же десять тысяч слов... Но скажи, к чему у тебя все эти ковры, скатерти, столовое белье, для чего это студенту? Это видно, что с политической экономией ты еще не знаком... Всех денег назад не выручишь, но третью часть можно получить.

– Заложить?

– К чему такое беспокойство? – Шацкий заглянул в окно. – Постой... Как раз он.

– Кто?

– Татарин...

Шацкий высунулся в форточку и крикнул татарину номер квартиры.

– Послушай... – начал было Карташев.

– Так ведь не захочешь продавать и не продашь, а цену на всякий случай узнаешь...

Татарин пришел, и Шацкий, быстро поворачиваясь, живой, сосредоточенный, стал ему показывать вещи, объяснял, врал про их стоимость и раздражил в конце концов аппетит татарина настолько, что тот настойчиво стал предлагать за все отобранное тридцать два рубля.

– Ну, тридцать пять или убирайся к черту, – решительно проговорил Шацкий.

Карташев протянул руку за деньгами.

– *A la bonne heure*¹⁶, – произнес Шацкий, облегченно вздыхая.

– Еще нет ли чего? – спросил татарин, увязав все.

– Нет, нет, иди, – замахал Карташев.

Когда татарин ушел, Шацкий сказал:

– Домой, конечно, не напишешь...

– Конечно, напишу, – недовольно перебил Карташев.

– Напрасно.

– Оставим этот разговор.

– Как тебе угодно.

– Мне, правду сказать, немножко неприятна вся эта продажа.

– Ну, стоит ли, мой друг, на таких пустяках останавливаться... с твоим сердцем и умом. *Escoute*¹⁷, едем к Ларио... Сегодня этот негодяй заходил ко мне, но не застал: это неспроста...

¹⁶ В добрый час (*франц.*).

¹⁷ Послушай (*франц.*).

XII

Дела Ларио были плохи.

Восемнадцать рублей, с которыми он приехал в Петербург, разошлись очень быстро. «Из дому» он ничего не получал, потому что единственная его родня – сестра – неожиданно овдовела и с четырьмя детьми осталась на такой ничтожной пенсии, что сама нуждалась в самом необходимом.

Надежды на урок тоже были на воде вилами писаны. При таких условиях никакие общие планы не лезли в его голову, и когда товарищи задавали ему в этом роде вопросы, Ларио начинал смущенно и оживленно подергивать плечами, разводил руками и говорил:

– Мой друг... ну, ну что ж тут думать о том, что будет послезавтра, когда завтра я, может быть, подохну с голоду.

И он смущенно пускал свое «го-го-го», закладывал вещи, пока было что закладывать; кое у кого брал займы, если предлагали. Иногда он приходил в гости, целый день ничего не евши, и если ему не догадывались предложить поесть, то и он не говорил о том, что голоден. По его красному лицу и по оживлению трудно было и догадаться, что человек сегодня ничего не ел. Но если его спрашивали:

– Петька, обедал?

Он отвечал:

– Собственно, н-нет... – И сейчас же прибавлял: – Собственно, вот, урочишко если бы получить рублей хоть в десять, и отлично бы.

Но, когда Ларио наедался, оживление его вдруг пропадало. Он делался молчалив, возился с своим больным зубом и угрюмо, без выражения, смотрел куда-нибудь в сторону.

Случайные рублевки уходили на Марцынкевича, и в этих случаях, оправдываясь, Ларио, разводя руками и по обыкновению кипятясь, говорил:

– Мой друг, что ж я на два рубля сделаю? По крайней мере, ну, хоть забудусь.

В общем, чем запутаннее становилось положение, тем Ларио делался беспечнее.

Единственно, что еще смущало его, – это квартира, или, как говорил он, «квартирный вопрос». С квартирой связывался и обед – блюдо голубей, правда, не всегда обеспеченное, но все-таки щит от страшного призрака полного голода.

Поэтому, когда пришел срок платить за месяц, Ларио скрепя сердце, – это было как раз накануне встречи Шацкого с Карташевым, – отправился к Шацкому и попросил у него займы шесть рублей. Он получил от Шацкого деньги, но вышло как-то так, что в последнее мгновение он решил уплатить хозяйке только за полмесяца. На остальные же три рубля пообедал, выпил бутылку пива, а вечером отправился к Марцынкевичу.

Там, в прокопченных залах этого заведения, его обдало обычным спертым воздухом, в котором смешивались и человеческий пот, и прокислые закуски буфета, и пиво, и водка. Но конфузливый в так называемом порядочном обществе, Ларио здесь не чувствовал обычного стеснения. Он умел в этих залах проводить весело время.

Когда он вошел, вечер был в полном разгаре. В воздухе тускло горели газовые рожки, освещая низкие, грязные залы, в которых взад и вперед двигалась обычная толпа посетителей: гризетки, горничные, ремесленные кокотки, «швейки», их кавалеры – приказчики, студенты и разного рода кутящий люд, от чуйки до господина во фраке, желающего поразить этот мир изысканностью своих манер. Но здесь, в этой демократической толпе, было мало настоящих ценителей таких манер, и они вызывали только веселый смех в дамах да желание со стороны кавалеров своих дам поставить обладателя фрака с изысканными манерами в какое-нибудь особенно глупое положение.

На местном жаргоне это называлось «устроить скандал». На этом поприще Ларио уже стяжал себе славу. Он был здесь несомненно популярным человеком и, чувствуя почву, держал себя с апломбом и уверенностью некоторым образом героя толпы.

Дамы любили Ларио за простоту, «за мах», за его готовность беззаветно спустить с ними последнюю копейку, и спустить с таким треском и шиком, на какой способен был только он, когда развернется.

Появление Ларио заметила Шурка «Неукротимая» (прозвище, как и остальные: «Подрумянься», «С морозцу» и прочие, данные самим Ларио) и понеслась к нему с противоположного конца зала.

Шурка была пропорциональная, среднего роста молодая девушка в черном платье, с простой прической, большими серыми глазами и румянцем на худом красивом лице.

Из многочисленных своих симпатий Ларио любил Шурку особенно за шик, за огонь, за пренебрежение к нарядам. Ее неизменный цвет платья был черный, а прическа – всегда прямой пробор и коса. Только и щеголяла Шурка своими шуршавшими белыми юбками да красивыми ботинками, плотно облежавшими ее стройную ногу. Но и эта роскошь имела, так сказать, свой смысл. Шурка была первая мастерица в танцах, и па, где сшибался поднятою ногой цилиндр с головы визави, требовало одинаково и грации, и безукоризненной ножки, и массы, наконец, юбок, маскирующих в решительный момент все, кроме ботинка и части обнаженного чулка.

Ларио, стоя у дверей, давно увидел мчавшуюся к нему Шурку, но, как опытный в таких делах человек, сделал вид, что не замечает ее.

– Петька, подлец! – налетела на него Шурка...

– А... а... ну, здравствуй, – ответил равнодушно и пренебрежительно Ларио.

– Ты что? угости!

– С этого времени тебя, прорву, начать накачивать, – трех капиталов не хватит, – искренне раздражился Ларио.

Шурка, чувствовавшая к нему какую-то невольную симпатию, и не подумала обидеться, а заметила только по важному виду Ларио, что «подлец Петька» при деньгах. Так как это бывало очень редко, а Шурка всегда и без денег оказывала ему внимание, то она сочла себя вправе воспользоваться этим редким случаем, чтобы на этот вечер стать исключительной обладательницей Ларио. Поэтому, ущипнув своего кавалера как можно сильнее за руку, она проговорила:

– Да ты это что, Петька?! Ты и не подумай у меня отлынивать! Смо-о-три!! чуть что – прямо глаза выцарапаю: тронь только кого-нибудь.

Горячий ответ Шурки пришелся по душе Ларио. «С огнем женщина!» – подумал он, но, не выдавая себя, небрежно ответил:

– Ладно... Не больно запугала, я и сам подолю задирать умею.

– Этак? – спросила Шурка и подбросила чуть не к носу Ларио носок своего ботинка.

– Не балуй! – как только мог солиднее ответил Ларио, сдерживая охватывавшее его удовольствие.

– Да ты что ломаешься?! – уже смело сказала Шурка, требовательно наступая на Ларио. – Ах ты дрянь этакая!

Она приблизила свое лицо к лицу Ларио и не спускала с него своих красивых глаз.

В глазах Ларио что-то сверкнуло. Девушка почувствовала свою силу и тоном, не допуская уже никаких возражений, скомандовала:

– Целуй!

Ларио нерешительно обдумывал: устоять или исполнить заманчивое для него приказание.

– Ну? – строго и с новой зажигательной силой повторила Шурка.

– Выведут... – слабо воззвал Ларио к благоразумию Шурки.

– Начхать!! Целуй.

Ларио быстро чмокнул Шурку в губы и еще быстрее, взяв ее под руку, нырнул с ней в толпу, повторяя на ходу:

– Ей-богу же, выведут.

В толпе они встречали знакомых и любезно кивали головой направо и налево. Своих первых танцоров узнавала толпа и почтительно пропускала вперед.

Так незаметно дошли они до буфета.

– Коньяк – ни-ни! – решительно заявил Ларио.

– Петька-а?!

– Вот тебе и Петька.

Шурка внимательно заглянула в глаза Ларио.

– Стану я тебя спрашивать?! Коньяку!!

– Ну и плати сама.

– Петька?

– Петька я давно, – водку пей...

– Ну, петушок, одну только... а там до конца, ей-богу, вот тебе крест, – водку.

– Экая дрянь... Ну дуй.

Шурка проглотила рюмку коньяку залпом и, дотрагиваясь до блюда вареных красивых раков, спросила:

– Рака?

Ларио, крикнув после выпитой рюмки водки, кивнул Шурке головой в знак согласия и сам, закусив редькой в сметане, под руку с Шуркой, осторожно обламывавшей ножки рака и сосавшей их, направился в залу.

Они опять шли под руку и опять весело раскланивались со знакомыми.

И все его симпатии: и «Подрумянься», и «С морозу», и Лизка-пьяница, и Маша первая, и Маша вторая – все, все понимали и то, что у Петьки деньги и что Шурка на сегодня завоевала Петьку, и в их поклонах ясно передавалось, что они признают эту победу и с своей стороны никаких посягательств ни на Петьку, ни на его карман делать не будут. И довольная Шурка говорила своему кавалеру о том, какие они все хорошие люди.

Были, впрочем, и такие, которые не желали признавать Шуркиных прав на захват и старались привлечь на себя внимание Ларио. Эти давали Шурке повод говорить о назойливости, о нахальстве, о подлости человеческой природы вообще и в частности о пристававших к Ларио.

У Шурки язык был, как бритва, она искусно работала им против своих соперниц, и Ларио говорил больше для успокоения Шурки:

– Да черт с ними: что тебе?

– Ну так и иди к ним... – горячо отвечала обидчивая Шурка, вырывая руку.

Но мир снова восстанавливался быстро, и Ларио опять выслушивал рассуждения Шурки на тему о подлости человеческой природы.

– Порядочная девушка, – говорила она убежденно и так громко, чтобы слышала та, к кому это относилось, – никогда не станет приставать к чужому кавалеру.

– Муж он тебе? – смущенно возражала соперница.

– Вот тебе и муж!!

– Черт вас вокруг стула крутил, – говорила, вспыхнув, соперница и быстро уходила, боясь Шуркиных когтей.

Шурка останавливалась, вот-вот готовая полететь вдогонку за убежавшей, но Ларио крепко держал ее за руку.

– Ну вот, ты всегда так, – говорил он ей торопливо, – рюмку выпьешь и уж скандалить готова... Брось...

– Ушла, – удовлетворенно говорила Шурка, не слушая доводов своего кавалера, и они опять продолжали свою прогулку.

Особенно назойлива была подозрительная, бледная фигура женщины лет под тридцать, с кличкой «Катя Тюремщица». Справедливо или нет, но эту Катю весной обвинили в воровстве кошелька у своего кавалера и посадили на три месяца в тюрьму. Это вконец подорвало ее положение: ее избегали. Да к тому же и возраст ее, – тридцать лет большой возраст для такой жизни, – и помятый вид, особенно после тюрьмы, как-то сразу осадившей ее, – все это делало то, что изо дня в день Катя Тюремщица, как какая-то проклятая тень, чужая всему окружающему, одиноко шаталась в толпе посетителей Пассажа, Невского, Вознесенского и Марцынкевича. Знакомство ее с Ларио было случайное, в минуту жизни трудную, когда он был совершенно без денег и искал чистой любви, а она, не обедавши, искала хоть куска хлеба. Они с аппетитом в тот вечер съели зажаренного в золе голубя.

Ларио узнал историю Кати, и хотя она была и Тюремщица, и некрасива, и поношенна, но в его любвеобильном сердце нашелся и для нее уголок: он любил ее за то, что, как говорил он, она была «бедненькая», то есть тихая, кроткая и загнанная.

Неприятны были только ее глаза, напряженные, ищущие.

– Жаль девочку, – сказал Ларио, проходя мимо Кати, бросавшей на него непозволительные, с точки зрения кодексов Шурки, взгляды.

– Сама только и вредит себе, – строго ответила Шурка. – В другой раз, может, и нашла бы свое счастье, а теперь, конечно, всякого порядочного человека только сконфузит... Дура, и больше ничего...

Ларио покосился на музыкантов и проговорил:

– Что они там жили тянут, – начинали бы кадрили.

– Ты иди, скажи...

Наконец раздался давно ожидаемый сигнал к кадрили.

В длинной зале начали строиться пары. Молодой человек на коротких ножках, в пиджаке, поспешно натягивал перчатки, топтался возле своей дамы и с волнением оглядывался по сторонам так озабоченно, точно от этой кадрили зависела вся его судьба. Подвыпивший господин из молодых приказчиков тащил под руку, вдоль построившихся пар, свою толстую, неуклюжую даму, отыскивая себе визави. Лысый, в чуйке, кавалер, сапоги бутылкой, робко втиснулся с своей дамой в ряды танцующих и оглядывался так, точно вот-вот покажется его законная супруга, от которой он мгновенно и даст «стрекача» в толпу. Что касается дам, то те с деловыми лицами строились также равнодушно, как делают это солдаты на учениях.

Ларио с Шуркой перед началом кадрили выпили еще по одной. Его немного шокировала компания сотоварищей, и он нетерпеливо ждал кадрили, когда в разгаре танцев не все ли равно ктоazole: чуйка ли, убежавший от своей жены, или приказчик, запустивший сегодня удачно руку в хозяйскую кассу.

Около Ларио и Шурки собралась обычная толпа зрителей.

Музыка заиграла.

– En avant!¹⁸ – резко тряхнул головой Ларио и двинулся с своей дамой вперед.

Начало, как всякое начало, не представляло ничего интересного. Ларио с легкостью, какую трудно было предположить в нем, не шел, а плыл, семена ножками, подергивая телом и руками. Иногда он хлопал в ладоши и мерно, в такт мотиву, наклоняя голову, довольно громко напевал:

*Кокотки-гризетки
Совсем не кокетки!
Кто их знал, кто их знал,
Не мог их позабыть*

¹⁸ Вперед! (франц.)

Иногда он бросал слово-другое своей подруге: «раскачивайся», «шевелись», и под этот приказ Шурка точно загоралась и показывала свой, как выговаривал Ларио, «шшиик».

Настоящий танец с соответственными телодвижениями начался в пятой фигуре, когда Шурка и Ларио делали свое solo. К этому моменту вокруг них собралась почти вся нетанцующая публика.

Первая пошла Шурка под зажигательный припев Ларио:

*O, hey, la cascade! Hey la tocade...
En avant, en avant, voyez la bacchanale?!¹⁹*

Шурка в это время, подобрав обеими руками платье, с массой торчащих из-под него белых юбок, загнула все это у себя на коленях и, придерживая руками, начала в такт музыке, все подвигаясь вперед, выбрасывать свои красивые маленькие ножки в высоких ботинках.

Когда музыка переменяла вдруг мотив, Ларио быстро и с треском подхватил:

*Кончиком ботинки
С носа сбить pince-nez.*

Как раз в это мгновение дойдя до Ларио, Шурка вдруг распустила свои юбки и быстро, непринужденным движением ноги, действительно сбросив с носа Ларио pince-nez, уже благополучно отбивала назад, слегка закинувшись и соответственным движением руки как бы приглашая за собой своего кавалера.

Взрыв аплодисментов наградила раскрасневшуюся Шурку за выказанную грацию и искусство.

Наступила очередь Ларио.

– Живей! – коротко, энергично скомандовал он. – Clic-clac.

И, дождавшись желанного темпа, разгорячившийся Ларио выступил вперед. Никто не узнал бы теперь обыкновенно тихого и застенчивого Ларио: это был уверенный в себе, стройный и сильный красавец юга. Вся итальянская кровь его дедов проснулась и заговорила в нем. Каждая жилка, каждый мускул вибрировал и играл. Большие черные глаза горели и метали искры, лицо покраснело, волосы в красивом беспорядке рассыпались по лбу.

– En avant! – вскрикивал он по временам.

И это короткое, страстное «en avant!» электрической искрой пробежало от него к толпе.

– Н-на!

И Ларио последним движением как-то боком, сложив на груди руки, подбросил обе ноги враз, успев ими и щелкнуть, и одну из них поднять выше Шуркиной головы.

– Bis! Bravo!.. – заревела публика.

На bis Ларио скомандовал казачка.

Под звуки новой музыки он легко и сильно, точно и не танцевал, пустился, как резиновый мяч, ударяемый сильной рукой, откалывать самого отчаянного трепака.

В то же мгновение Шурка тихо и плавно, красиво перегнувшись и помахивая платочком, выплыла на середину зала. Все давно бросили танцевать и во все глаза следили за красивой парой. То заступая нога за ногу, скрестив руки, кавалер уходил от своей дамы; то догонял ее, присев к земле и перебирая, не подымаясь, ногами; то опять пускался в ту минуту, когда, казалось, все силы оставили его, в самую отчаянную присядку. И казачок он кончил каким-то

¹⁹ Да здравствует веселье! Да здравствуют интрижки... Вперед, вперед, вот так вакханалия?! (франц.)

не поддающимся описанию скачком, причем ноги его взлетели на воздух, и в то же мгновение ладонью он хлопнул по полу.

Новый взрыв аплодисментов и новый неистовый крик «bis».

После кадрили почитатели таланта просили Ларио и его даму выпить и закусить с ними. Ларио скромно принимал приглашения, но ничего, кроме водки, не пил, объясняя каждому, что он человек с маленькими средствами и пьет только то, чем может ответить.

Но верхом торжества было, когда вдруг распорядитель заведения, протолкавшись к прилавку, подал Ларио на подносе билет почетного посетителя. Ларио немного смутился, но не принять было неловко. Настроение и желание толпы было угадано: посыпались новые аплодисменты, раздались крики «ура», «браво», и смущенный Ларио только успевал раскланиваться на все стороны.

Поднялись и Шуркины акции: она получила несколько соблазнительных предложений. Один фронт даже звал ее ехать к Пивато. Шурка наотрез отказывалась от всех приглашений.

Но кавалер ее не был на высоте. Перед ним вдруг очутилась Катя Тюремщица и голосом простым, но полным горького упрека, произнесла:

– Сашку коньяком поишь, а когда денег нет – ко мне; в последний раз и на извозчика не дал.

– Не дал? И дал бы, да не было: видала кошелек?

Ларио говорил с неприятной интонацией человека, желавшего отвязаться от назойливого собеседника. Он ждал еще приставаний и приготовился ответить Тюремщице еще резче, но та замолчала и только тоскливо и безнадежно смотрела в одну точку. Ларио скользнул взглядом по ее лицу и смущенно поспешил отвести глаза. В это мгновение фигура Тюремщицы так мало подходила к окружавшей их обстановке. Это и отталкивало от нее, и сближало с нею какой-то другой стороной: точно стояла перед ним не женщина этой залы, а какой-то близкий, очень близкий ему человек.

– Целый день маковой росинки во рту не было, – скорее как мысль вслух, тоскливо говорила Катя.

Доброе сердце Ларио сжалось от этих слов. Глаза его направились в ту сторону, где стояла Шурка, и, заметив, что та с кем-то разговаривает, он быстро и смущенно ответил:

– Так бы и сказала... пей... – И, взяв рюмку с прилавка, он передал ей.

Угощая Тюремщицу, Ларио думал, что он, не нарушая прав Шурки, исполнял только некоторым образом свой долг.

Но не так посмотрела на вопрос Шурка, заметившая действия своего кавалера. Вскипев негодованием, на какое только способна была ее невоздержанная натура, она бросилась к Тюремщице и, не помня себя, с воплем: «Так вот же тебе, тюремная присоска!» – выбила из рук соперницы рюмку, которую та только что собралась опрокинуть в рот. Водка расплескалась по лицу и платью Тюремщицы, рюмка упала на пол, и в ту же минуту Шурка получила такую пощечину, что на мгновение даже растерялась. Но вслед за тем, с визгом налетев на соперницу, всеми своими десятью когтями она впиалась в лицо Тюремщицы. И хотя их немедленно растащили в разные стороны, но лицо Тюремщицы сразу залилось кровью. Впрочем, и из носа Шурки капала кровь, и теперь она осторожно, чтоб не запачкать платье, то и дело прикладывала платок к носу и оживленно рассказывала всем, желавшим слушать, историю драки. Тюремщица не слушала и, закрыв лицо, стояла, как человек, получивший смертельный приговор. Она понимала одно: она, с своим обезображенным лицом, сразу потеряла и на сегодня, и на завтра, и на много дней какую бы то ни было надежду на практику, а с ней и надежду на еду, кров... Положение сразу стало невыносимым и критическим. И все эти соображения и последний, не дошедший до рта кусок подействовали на несчастную так, что она, присев тут же на стуле, вдруг горько зарыдала.

Между тем скандал привлек все общество, поднялся оживленный говор. Шурка, раскрасневшаяся и растрепанная, все вытирала кровь, капавшую из носа, и горячо рассказывала историю с своей оскорбленной точки зрения; ясно было неблагородство Тюремщицы, и все смотрели на последнюю, продолжавшую молча рыдать, с каким-то смешанным чувством соболезнования и презрения. Для Тюремщицы весь дальнейший эпизод не имел уже никакого интереса. При охватившем ее отчаянии не было места пустому, минутному самолюбию, которое фонтаном било в молодой, здоровой Шурке. Тюремщица продолжала рыдать, не интересуясь окружающим, как чем-то таким, что с этого мгновенья, может быть, навсегда станет ей чуждым. Рыдания перешли в кашель, тяжелый, судорожный кашель надорванной груди. На зрителя повеяло атмосферой больницы. Тюремщица не слышала, как пришел распорядитель, как в десятый раз, еще раз, Шурка с разными дополнениями передала ему всю историю; не слышала, как поднялся вопрос о выводе кого-нибудь из них, как Ларио горячо и убежденно просил и уговаривал распорядителя не доводить дело до скандала, как, наконец, решено было смягчить форму изгнания. Тюремщица пришла в себя только тогда, когда распорядитель, наклонившись к ней, мягко посоветовал ей ехать домой. Она беспрекословно встала и, продолжая всхлипывать, закрываясь платком, пошла за ним на лестницу.

Ларио догнал ее и сунул ей в руку сорок копеек. Тюремщица в ответ, закинув голову с прикрытым рукою лицом, так всхлипнула, что Ларио прибавил смущенно:

– Завтра часов в десять утра приходи ко мне, – и мгновенно вернулся назад утешать другую жертву «любви» к себе – Шурку Неукротимую.

На возвратном пути распорядитель остановил Ларио и попросил его, в виде особого одолжения, увезти и Шурку, так как в обществе началось обратное движение – в пользу Кати, а публика достаточно пьяна, и, пожалуй, может выйти новый скандал. Ларио согласился, но с подвыпившей Шуркой не так легко оказалось справиться. Тем не менее, при добром содействии друзей и подруг, Ларио удалось наконец в четвертом часу ночи свести Шурку в уборную. Но уже в пальто, услышав вдруг веселые звуки кадрили, Шурка пустилась в пляс и чуть не вырвалась, как была, назад в танцевальную залу. И когда и на этот раз удалось ее уговорить, она с горя успела все-таки хоть перед швейцаром проделать свое любимое па.

На другой день, когда Ларио проснулся, Шурка уже была на ногах и в одной юбке возилась около самовара.

– Где твой чай и сахар?

– Где? – повторил Ларио, – в лавке... Пстой, пошлю сейчас.

Ларио вскочил, отворил дверь, просунул голову и как мог ласковее произнес:

– Марья Ивановна!

Что-то в конце темного коридорчика заколыхалось и медленно подплыло к полуотворенной двери. Это и была та самая Марья Ивановна, расплывшаяся, всегда добродушно-недоумевающая квартирная хозяйка.

– А что, некого, Марья Ивановна, послать за чаем?

– Кого же? Дашу рассчитали, а новой нет еще.

– А... может быть, вы дадите на заварку... я вот только оденусь.

– Хорошо.

– И сахару немножко...

– И булку?

– Да, пожалуйста... Очень, очень вам благодарен.

Ларио, дождавшись у дверей припасов, опять улегся и, вспомнив с неприятным чувством о предстоявшем визите Тюремщицы, во избежание столкновения проговорил:

– Ну, однако, Шурка, того... пей чай и марш... мне надо заниматься.

– Еще что выдумал? – спокойно ответила Шурка, – никуда я не пойду.

Хотя это и очень польстило самолюбию Ларио, но тем не менее он категорично повторил свое требование. При этом он, как мог, объяснил ей, что у него репетиция, что такое репетиция и что необходимо что-нибудь знать, а он еще ничего не знает.

Хотя Шурка поверила только последнему, но, ввиду настойчивости Ларио, который при всей своей деликатности, сам наконец встав, начал одевать ее, она уступила и начала трогательно прощаться с ним. Ларио так расчувствовался, что отдал ей весь свой капитал, – что составило всего-навсего пятьдесят пять копеек.

Шурка сунула деньги в карман, подавив упрек, что с таким заработком не проживешь, спустила на лицо вуаль, потом опять подняла его, в последний раз поцеловала своего возлюбленного и повернулась уже к двери, собираясь отворить ее, как вдруг дверь сама отворилась, и Шурка замерла на месте. В дверях стояла унылая фигура Кати Тюремщицы.

В мгновение ока Шурка поняла теперь и что значила эта репетиция, поняла и всю подлость Петьки и вскипела негодованием к неблагодарному, для которого она, может быть, целые десять рублей променяла на жалкие пятьдесят пять копеек.

Ларио совершенно опешил от такой неожиданности и стоял, как пойманный вор. Шурка вскинула на него глаза, и новый прилив бешенства охватил ее. С криком «подлец» она схватила что-то попавшееся под руку и бросила это что-то о землю так, что оно разлетелось в куски. Затем, как бомба, она вылетела из комнаты, чуть не сбив с ног Тюремщицу.

Это, брошенное Неукротимой, было не что иное, как снаряд Ларио для голубей.

Ларио стоял над разбитым снарядом, с разбитой надеждой на обед, с тяжелой обузой в лице унылой Тюремщицы, и тем ярче схватывал его образ исчезнувшей живой Шурки Неукротимой.

XIII

Карташев и Шацкий, отправившись к Ларио в день первой встречи и продажи вещей татарину, застали его в странной семейной обстановке.

Ларио лежал на кровати, а Тюремщица сидела у его ног.

Увидев в дверях приятелей, Ларио быстро смущенно поднялся, а Тюремщица поспешила выйти из комнаты.

Шацкий только кивал головой, расставив свои длинные ноги.

– Кто это? – спросил Карташев.

– Говори... – печально предложил Шацкий.

– А правда – милая? – спросил смущенно Ларио.

– О! очень милая, – ответил, переменяв быстро тон, Шацкий и забежал по комнате.

– Вы, пожалуйста, не подумайте того... что-нибудь, – вдруг смущенно заговорил Ларио, щурясь на своих гостей. – Как это ни странно... Го-го-го... Я выступаю в довольно комичной роли – в роли покровителя порядочной женщины... Го-го-го... Хотя она... того...

Ларио сделал жест, точно ловил в воздухе муху.

– Го-го-го, покровитель, го-го-го, порядочная женщина, го-го-го, того, – умеешь ты, наконец, говорить по-русски? – нетерпеливо спросил Шацкий.

– Понимаешь ты, – начал опять Ларио, ни капли не обижаясь, а, напротив, успокоившись от слов Шацкого. – Женщина решила бросить прежнюю свою специальность; ну, конечно, ты мне поверишь, что я здесь ни при чем... ну, и пришла ко мне... Ну и...

Ларио точно подавился.

– Ну, говори! – крикнул на него Шацкий.

– Ну, понимаешь ты, хоть я не миссионер, черт меня побери, го-го-го, но не сказать же мне ей: «Иди опять в проститутки», – что ли; я, конечно...

Ларио опять замялся.

– Ну, одним словом, ты разнюнился, – подсказал ему Шацкий, – ну, и что же?

– Я, положим, не разнюнился... и ты врешь, но я тоже...

Ларио говорил бы еще два часа, наверно, ни до чего не договорившись, если бы Шацкий не оборвал его:

– Одним словом, ты оскандалился?

– Ничуть не оскандалился...

– Я почти уверен, что ты даже нюни распустил...

– Ну, это ты, может, способен от юбки нюни распускать...

– Врешь, подлец, теперь я убежден даже в этом... Ну, все равно... Ты предложил ей помощь... отцовскую или братскую помощь... конечно, братскую...

Ларио бросило в жар.

– О мой друг, к чему же так выдавать себя, как какой-нибудь мальчишка... Пожалуйста, не перебивай...

– Ну, да о чем тут разговаривать, – перебил Карташев, – главное здесь то, что действительно надо помочь...

– Все это не главное, главное – уличить вот этого мерзавца...

Шацкий указал на Ларио, который, вдруг успокоившись, щурился и произнес, стараясь придать голосу самый спокойный тон:

– Ну, ну, говори.

– Ты распустил нюни...

– Врешь.

– Ты обещал отцовскую или братскую помощь.

– Не братскую и не отцовскую.

– Врешь, подлец. Ты...

Шацкий впился в Ларио, который еще больше прищурился, как бы пряча свои глаза от его пронизательности.

– Ты, – медленно, с расстановкой начал Шацкий, – придумал план помочь ей...

– Придумал.

– Она по специальности швейка...

– Не швейка, модистка, положим.

– Все равно... Ты решил...

Шацкий остановился и наслаждался производимым им впечатлением.

– Ну, ну? – переспросил Ларио, волнуясь.

– Купить ей швейную машину!! – И Шацкий, выпалив это, вскочил, забежал по комнате и, сделав совершенно идиотское лицо, заговорил какую-то чепуху.

Ларио, смущенный тем, что Шацкий угадал его планы, не спускал с него глаз.

– Ну, Миша, – заговорил он, – как хочешь, а ты с чертом свел уже знакомство. От тебя, знаешь, чертовщиной уже несет...

Шацкий рассмеялся, но продолжал нести свою ерунду.

– А знаешь, почему я колдун? – спросил вдруг Шацкий и ответил: – Потому что ты глуп.

– Сам ты глуп, – добродушно ответил Ларио.

– Ты действительно думал купить ей машинку? – спросил Карташев.

– Да... Понимаешь, у нее практика обеспечена, ее, так сказать, бывшие подруги по ремеслу...

– Придумал!! – с презрением перебил Шацкий. – Именно надо быть Петей, чтобы додуматься до такой глупости.

– Почему, мой друг? – спросил Ларио.

– А потому, – серьезно заговорил Шацкий, – что на машине и она не будет работать, и ты ее выгонишь на другой день... Она от работы отвыкла, она, хоть бы хотела, не может работать, потому что изнурена...

– Она даже кровью кашляет...

– Дурак, – фыркнул Шацкий. – Но если бы она и могла работать... Платья, юбки, заказчицы, и все это в твоей комнате, и ты с тремя Сашками, пятью Лизками... Понимаешь теперь, что ты глуп?!

– Ну, хорошо, ты умен, ну, и какое же твое мнение?

– Нет, ты не отлынивай, ты понимаешь теперь, что ты глуп?

– Ну, хорошо, дальше...

– Сознался наконец... Слава тебе, господи... А дальше то, что ей надо открыть мебелированные комнаты. Найдется несколько таких дураков, как ты, которые ей платить ничего не будут, и она вместе с вами подохнет с голоду.

– Меблированные комнаты – идея хорошая, – согласился Карташев, – но для этого надо много денег.

– Немного больше, чем для машины... Можно откупить уже с готовой обстановкой, можно напрокат взять, можно в рассрочку купить... сто рублей надо.

– Ну, и отлично... Я даю тридцать пять, вырученные от татарина, – сказал вдруг Карташев.

Конечно, Карташевым руководило и доброе чувство, но в то же мгновение сам собою разрешался смущавший его и другой вопрос: продажа вещей была бы неприятна его матери. Если не писать ничего об этом и деньги прожить, выйдет некрасиво, а если отдать этой несчастной, то молчание о продаже вещей получит характер даже некоторым образом возвышенный: «Да не ведает правая рука, что творит левая».

Поэтому Карташев даже с легким сердцем вынул отдельно лежавшие в бумажнике деньги и положил их на стол.

– Ха... ха... – весело пустил он.

Шацкого вдруг смутила эта именно непринужденность Карташева. Он сконфуженно и напряженно замигал своими маленькими глазами.

– Мой друг, ты не умеешь... Так порядочные люди не делают... Если ты хотел помочь, то должен был дать все...

– Кто тебе мешает? – ответил Карташев.

– Что? – нерешительно спросил Шацкий и вдруг, быстро вытащив свой бумажник, вынул сотенную и бросил ее на стол. Но сейчас же карикатурно вскочил, оперся на стол, закрыв одной рукой деньги, точно хотел их взять назад, и так посмотрел на Карташева и на Ларио, точно сам не понимал, что с ним делается.

– Миша!.. – умилился Ларио.

– Пошел вон!! – заорал вдруг благим матом Шацкий.

Он ураганом стал носиться по комнате. Кровь прилила к его лицу. Он испытывал отвращение и к Ларио, и к Карташеву, и к Тюремщице. Он упал на кровать и несколько мгновений лежал с закрытыми глазами.

– Грабят!!! – закричал он в порыве бешенства.

Ларио и Карташев переглянулись.

– Миша, возьми деньги, – сдержанно произнес Ларио.

Шацкий молчал.

– Конечно, возьми, – сказал Карташев, – ну, дай десять, пятнадцать рублей.

– Дай десять, пятнадцать рублей, – передразнил его Шацкий... – оставьте меня в покое. Карташев и Ларио заговорили между собою.

– Послушай, – говорил Карташев, – но ведь прежде всего ей следует лечиться. Самое лучшее позвать бы Корнева...

– Я согласен, – ответил Ларио.

– Собраться бы с ним обсудить. Сегодня – что? Среда, так в пятницу... в шесть часов...

– Отлично.

Шацкий поднялся с кровати. Лицо его было уже спокойно.

– Честному человеку нельзя жить на свете, – проговорил он задумчиво.

– Миша, возьми назад деньги.

– Пошел вон! – спокойно ответил Шацкий... – Нет, с вами в Сибирь попадешь... Едем в оперетку...

– А в Александрино?

– Ну, вот... они меня окончательно убьют... Можешь ты мне сделать одолжение, ехать именно в оперетку?..

– За твое великодушие я согласен с тобой хоть к черту, – ответил Карташев.

Шацкий утомленно кивнул головой.

– Одевайся.

– Господа, что же вы? Чаю...

– Нет, нет, с этим подлецом я больше секунды не могу быть, – торопил Шацкий.

Карташев и Шацкий оделись.

– Спасибо, Миша! – сказал Ларио, провожая их.

– Убирайся, убирайся...

– Го-го-го, – смущенно шурился Ларио, когда Шацкий, не желая протянуть ему руки, убежал по коридору, – ты послушай, Миша, твой друг, граф Базиль, так бы не поступил.

– Может быть, может быть... с такими господами, как ты, все может быть.

– Миша, это, наконец, обидно; или давай руку, или я брошу тебе в морду твои деньги, – вспыхнул Ларио.

– Ну, вот... Я говорил... На тебе руку, и черт с тобой!

– Ну, вот так лучше.

– У! животное...

– Ну, прощай, – крикнул снизу лестницы Карташев.

– Прощай... Прощай, Миша, – крикнул Ларио.

– Пошел вон, – раздался из темноты уже веселый обыкновенный голос Шацкого.

XIV

– Ну, что? – спросил Шацкий Карташева, когда они по окончании представления вышли из театра.

Карташев промычал что-то неопределенное.

– Нравится, но стыдно признаться, – сказал Шацкий. – Со мной это можно оставить – я не Корнев, я пойму тебя, мой друг. Завтра едем?

– Вряд ли.

– Как хочешь... может быть, утром меня навестишь?

– Нет. Я завтра на лекции.

– А-а! ужинать хочешь?

– Нет... буду письма писать.

– Ну, в таком случае прощай...

Карташев хотел писать домой, но, возвратившись, почувствовал себя в полном нерасположении. Перед ним ярко проносились картины театра, мелькали голые руки и обнаженные плечи красивых актрис, и особенно одна из них не выходила из головы – красивая, стройная, с мягкими, темными глазами певица. Она была одета итальянкой, пела «Viva l'Italia»²⁰, ласково обжигала своими глазами, и Карташеву показалось, что она даже обратила на него особенное внимание...

Перед ним сверкнули ее манящие, добрые глаза, нежная и атласная белизна ее голых рук и плеч, сердце его усиленно забилося, и он подумал, засыпая:

«За обладание такой женщиной, за одно мгновение можно отдать всю жизнь».

Что-то снилось ему. Но утром, когда Карташев проснулся, все сны его подернулись таким туманом, что он почти ничего не мог вспомнить, и только образ матери, холодный и равнодушный, стоял ясно перед ним. Под впечатлением ее образа он почувствовал какое-то угрызение совести, хотел было засесть за письмо к матери, но, по зрелом размышлении, раздумал, потому что письмо под таким настроением вышло бы натянутое, сухое, и мать его, очень чуткая, была бы не удовлетворена. Поэтому, прежде чем писать письмо, Карташев решил привести себя в равновесие. Вдумываясь, что выбило его из колеи, он прежде всего остановился на оперетке и решил больше туда не ходить. Это очень облегчило его. Второе решение было – немедленно после чая отправиться на лекции и аккуратно все их высидеть. Он даже пешком пошел в университет. Он шел и с удовольствием думал о своей решимости.

В передней университета встретила его знакомая толпа швейцаров, ряд длинных вешалок, к одной из которых он подошел и разделся. Карташев оправил волосы, вынул носовой платок, высморкался и, как-то съежившись, зашагал по широкой лестнице наверх, в аудиторию.

Там он опять волновался, опять также слушал знаменитого профессора, опять ничего не понимал и раздражался.

Карташев вдруг вскипел.

«Ну, и не понимаю, я дурак, а вы умны, и черт с вами со всеми, а испытывать постоянное унижение от мысли, что я дурак, я не желаю больше...»

Он решительно встал и вышел из аудитории.

– Подохните вы себе все с вашим умом, – прошептал он, хлопнув дверью.

Выйдя на улицу, Карташев так весело оглянулся, точно вдруг почувствовал себя дома, – не там дома, на далекой родине, а здесь, на воле, в большом Петербурге. Ему вспомнился вчерашний театр, Шацкий, его приглашение, и, взяв извозчика, он поехал к Шацкому.

²⁰ Да здравствует Италия (*итал.*).

Извозчик подвез его к красивому дому на Малой Морской, и по широкой, устланной ковром лестнице, по указанию швейцара, Карташев поднялся в третий этаж. Он позвонил. Вышла горничная в чепце, молоденькая, но важная, и с достоинством спросила:

– Как прикажете доложить?

– Не надо докладывать, – ответил Карташев.

Раздевшись, он оглянулся на горничную, и та, проведя его несколько шагов по широкому, застланному ковром коридору, отворила дверь. Карташев вошел в большую высокую комнату с большими венецианскими окнами, с бархатными малиновыми гардинами и с такой же тяжелой портьерой в другую комнату.

Посреди комнаты стоял стол, на котором лежало несколько номеров газет, «Стрекоза», «Будильник» и несколько французских журналов. Весь пол был застлан ковром. В простенках окон стояли высокие, чуть не до потолка, два зеркала.

Карташев поднял портьеру и увидел Шацкого, задумчиво лежавшего еще в постели. Красивое тигровое одеяло покрывало Шацкого, и из-под него едва выглядывала маленькая черненькая стриженная головка хозяина.

– Кто тут? – испуганно спросил Шацкий, но увидав Карташева, весело вскрикнул: – Артур, мой друг, как я рад тебя видеть!

– И я тоже очень рад тебя видеть.

– Чай, кофе?

Шацкий отчаянно позвонил, и, когда из-за портьеры раздался голос горничной, спрашивавшей, что ему угодно, он крикнул:

– И чай и кофе с печеньями, – прошу поторопиться: мой друг, граф Артур, не любит ждать.

– Сию минуту, ваше сиятельство, – ответила горничная.

– У меня строго, – сказал Шацкий после ухода горничной.

– Но зачем же ты меня произвел в графы? – спросил Карташев.

– Нельзя, мой друг, этикет. У меня никто, кроме графов и князей, не бывает... Единственное исключение составляет Ларио... Я его называю, когда является горничная: «Мой милый оригинал барон...» А правда, красиво – граф Артур?.. Я сегодня же напишу отцу, что имею дуэль с графом Артуром. Он когда-то был в Дерптском университете и любит хвастаться своими дуэлями с немцами-баронами, а не угодно ли с графом Артуром на кинжалах... Это очень эффектная дуэль: коротенькие кинжалы и прямо в грудь... Завтра Корнева попрошу рецепт мне написать...

– Ты напишешь, что ранен?

– Опасно! Лучший доктор, за каждый визит сто рублей. Нельзя, мой друг... этикет... Мы, бедные люди большого света, мы рабы этикета.

Он стал одеваться и потом умываться, причем чистил зубы, ногти, щеткой натирал руки, шею, грудь, спину, фыркал, пускал кругом фонтаны воды и постоянно твердил:

– Ничего не поделаешь... Большой свет требует жертв.

Умывшись, Шацкий нарядился в какой-то пестрый халат, надел маленькую бархатную шапочку, подошел к зеркалу, показал себе язык, оглянул себя сзади, щелкнул над головой пальцами и, проговорив себе под нос «дзинь-ла-ла», обратился к Карташеву:

– Я всегда в этом костюме пишу письма домой... чтобы прийти в надлежащее настроение.

– Кофе и чай, ваше сиятельство, на столе, – раздался голос горничной.

– Граф Артур, прошу вас сделать мне честь, откусать моего хлеба-соли.

И Шацкий, откинув портьеру, стоял в наклоненной, довольно карикатурной позе, ожидая, пока Карташев пройдет в столовую.

Горничная почтительно стояла у дверей.

Шацкий подошел к столу и сделал пренебрежительную гримасу.

- Мне кажется, что гренки недостаточно поджарены, – проговорил он как бы про себя.
- Прикажете доложить madame, ваше сиятельство?
- Не надо... можете идти.

Когда горничная вышла, Шацкий спросил Карташева:

- Прилично?
- Вполне.

– Мерсі, мой друг. В моих огорчениях ты единственный, кто утешает меня... Пожалуй-ста, – предложил он, подвигая кофе и печенье.

Напившись вкусного кофе, закулив папироску, Шацкий обратился к Карташеву:

– Не желаешь ли, мой друг, сигар? У меня есть порядочные... не скажу, хорошие... Мой друг Базиль привез мне из Гаваны ящик, и какая дешевизна, всего восемьдесят рублей сотня! Я думал, что мне придется выбросить их в окно, но, представь себе, оказались сносными...

Не рискуя ставить своего приятеля в неловкое положение в случае, если бы у него не оказалось сигар, Карташев дипломатично отказался.

- Тогда, может быть, хочешь на кушетке поваляться?

– Это с удовольствием, – ответил Карташев и, подойдя к кушетке, повалился на нее. – Тошища смертная, – произнес он, закладывая руки за голову.

– Мой друг, ты, кажется, не в духе? – спросил Шацкий и участливо наклонился к Карташеву. – В чем дело? Денег? Мой кошелек всегда к твоим услугам.

– Мерсі, мне не надо денег, – соврал Карташев. – Понимаешь, в чем дело... Я ничего не понимаю, что читают на лекциях...

- Только-то... смущаться от таких пустяков... а я совсем решил не ходить на лекции.

- И я сегодня решил то же самое.

- Я никогда не сомневался, что ты умный человек, – снисходительно ответил Шацкий.

- Понимаешь, какой смысл ходить...

- Понимаю, понимаю...

- ...когда ничего не понимаешь...

- Понимаю, понимаю.

– Надо сначала дома будет поработать, чтоб приучиться понимать, по крайней мере, этот китайский язык.

- Не стоит, мой друг.

- Ну, как не стоит? – надо же когда-нибудь...

- Ничего не надо. Поверь мне, что порядочному человеку ничего этого не требуется...

Вот: порядочные манеры, хорошие знакомства, уметь фехтоваться, верхом ездить, записаться членом яхт-клуба, – это я понимаю. Кстати, ты читал «Рокамболя»?

- Никогда.

- Очень и очень милая книга. Хочешь, почитаем вслух.

- Ерунда ведь.

- Никогда. Очень тонкая штука и знание большого света... Хочешь? Попробуем.

И Шацкий, улегшись на другой диван, взял «Рокамболя» и начал читать. Пробыло час, два, три, четыре, пять, пока, наконец, приятели оторвались от чтения.

- Такая чушь, – сказал, потягиваясь, Карташев, – а не оторвешься.

- А-га! Я тебе говорил. Теперь отправимся к Мильбрету и после обеда опять за чтение.

- Отлично.

По возвращении с обеда приятели опять расположились на диванах и продолжали чтение. Когда в коридоре пробило восемь часов, Шацкий отложил книгу и сказал:

- Ну, а теперь, Артур, пора в театр.

Карташев нерешительно встал, нерешительно оделся вслед за Шацким и только на лестнице сделал слабую попытку воспротивиться:

– Что ж это – каждый день?

– Мой друг, что за счеты между порядочными людьми.

И, покотившись от смеха, Шацкий схватил за руку смеявшегося Карташева и весело потащил его за собой по лестнице.

– Надо хоть рince-pez купить, – сказал Карташев, – а то плохо видно.

– А-а... это необходимо!

– А ты?

– Я хорошо вижу, мой друг.

Раздевавший их у Берга солдат назвал Карташева, как и Шацкого: «Ваше сиятельство».

– Ты отчего же угадал, что он тоже граф? – спросил Шацкий.

– Помилуйте, ваше сиятельство, сразу видно, – ответил солдат.

И, рассмеявшись, друзья отправились в буфет. Карташев на ходу вытер свое рince-pez и, надев его на нос, почувствовал себя очень хорошо и устойчиво. Ему показалось даже, что у него явилось такое же выражение, как у того студента с белокурыми волосами. Теперь и он мог бы так же свободно и спокойно идти куда угодно. Он не мог отказать себе в удовольствии проверить свои ощущения и, направляясь в ту сторону буфета, где стояло зеркало, окинул себя внимательным взглядом.

– Хорош, хорош, – проговорил Шацкий, – красавец... по мнению коров, – добавил он вдруг.

– Надеюсь, ты не завидуешь? – спросил Карташев, смутившись и не найдясь, что сказать.

– Мой друг... преимущество глупости в том, что ей никогда не завидуют.

Карташев обиделся.

– В чем же проявляется моя глупость?

– Человек, который не проявляет ума, тем самым проявляет свою глупость.

– Ну, а ты чем проявляешь свой ум?

– Тем, что переносу терпеливо глупость.

– Свою?

– Все равно, мой друг, не будем говорить о таких пустяках.

– Не я начал, ты...

– Еще бы... Начинают всегда старшие, а младшие им подражают.

– Ну, уж тебе я не подражаю.

– Мы, может быть, оставим этот разговор и пойдем в партер?

– Как хочешь.

– Так мил и великодушен... *comme une vache espagnole...*²¹

– А ты остришь, как и подобает такому шуту, как ты.

– Ты сегодня в ударе.

– А ты нет.

– При этом мы оба, конечно, правы, потому что оба врем.

– Ах, как смешно, – пожалуйста, пощекочи меня.

– Мой друг, стыдно...

– С тобой мне ничего не стыдно, – покраснел Карташев.

Шацкий сделал пренебрежительную гримасу.

– Ты груб, как солдатское сукно.

– Я тебя серьезно прошу, – вспыхнул и запальчиво заговорил Карташев, – прекратить этот дурацкий разговор, иначе я сейчас же уеду и навсегда прекращу с тобой всякое знакомство.

– Обиделся наконец, – фыркнул Шацкий.

– Пристал, как оса.

²¹ как испанская корова... (франц.)

– Ну, бог с тобой, – мир...

Карташев нехотя протянул свою руку.

– Ну, Артюша, миленький... А хочешь, я тебя познакомлю с итальяночкой?! Ну, слава богу, прояснился... Нет, серьезно, если хочешь, скажи слово – и она твоя. Я повезу вас в свой загородный дом, устрою вас там, и мы с Nicolas станем вас посещать...

Приятель вместе с публикой вошли в длинную, на сарай похожую залу театра и уселись в первых рядах. Звзвизнула занавесь, заиграл оркестр из пятнадцати плохих музыкантов, раздались звонки, и, как в цирке, одна за другой, один за другим выскакивали на авансцену и актрисы и актеры. Они пели шансонетки с сальным содержанием, танцевали канкан и говорили разные пошлости. Все это смягчалось французским языком, красивыми личиками актрис, их декольтированными руками и плечами и какой-то патриархальной простотой. Одна поет, а другая, очередная, стоит сбоку и что-то телеграфирует кому-то в ложу. Собьется с такта поющая, добродушно рассмеется сама, добродушно рассмеется публика, дирижер рассмеется, и начинают сначала!

– Твоя, – сказал Шацкий громко, когда итальянка подошла к рампе.

– Тише, – ответил Карташев, вспыхнув до ушей.

Взгляд итальянки упал на Карташева, и легкая приветливая улыбка скользнула по ее губам.

– Видел! – вскрикнул Шацкий.

– Тише, нас выведут...

Карташев замер от восторга.

В антракте Шацкий спросил:

– Кстати, знаешь, что ей сорок лет?

– Ты врешь, но если бы ей было и шестьдесят, я симпатизировал бы ей еще больше...

– Это легко сделать: подожди двадцать лет.

– Она вовсе не потому мне нравится, что она молода, красива и поет у Берга на подмостках. Напротив – это отталкивает, и мне ее еще больше жаль, потому что я уверен, что нужда заставляет ее... Разве пойдет кто-нибудь охотно на такую унижительную роль? Нужда их всех заставляет, но ее жаль больше других, потому что она милое, прелестное создание, ее мягкая, ласковая доброта так и говорит в ее глазах, так и просит, чтоб целовать, целовать их...

– О-го!.. одним словом, ты, как все влюбленные, потерял сразу и совершенно голову и с удовольствием взял бы итальянку себе в горничные.

– Дурак ты, и больше ничего! это богиня... я молился бы на нее на коленях.

– Ну, а что бы ты сказал, если бы увидел свою богиню на коленях гусара?

– Этого не может быть, не было и никогда не будет.

– Никогда?

– Ну, что ты спрашиваешь таким тоном, точно знаешь что? Все равно я тебе не поверю и только буду очень невысокого мнения о твоей собственной порядочности.

– Нет, я и не желаю сказать ничего. Я ее не видел, но из этого еще ничего не следует. С этого момента я буду следить за ней а la Рокамболь... Постой, вот отличный способ убедиться... Останемся до конца спектакля и выследим, с кем она поедет.

– Согласен.

– И пари: кто проиграет, угощает ужином. Я говорю, что она поедет не одна.

– А я говорю – одна.

Когда кончился спектакль, Шацкий и Карташев остались в вестибюле и долго ходили в ожидании.

– Идет! – сказал наконец Шацкий, заглянув в коридор.

У Карташева так громко забилося сердце, что он слышал его удары.

Итальянка, закутанная в простенькую ротонду, вышла из коридора, скользнула взглядом по Карташеву, на мгновение остановила на нем свои приветливые темные глаза и, выйдя на подъезд, позвала извозчика.

– Подсади, – приказал Шацкий.

Карташев бросился к извозчику. Как в тумане, мелькнули перед ним ее бледное красивое лицо, ее выразительные глаза, его обдало каким-то особенным, нежным, как весна, запахом духов, его всего охватило безумное желание чем-нибудь выразить свой восторг – броситься ли под лошадь того ваньки, на которого она садилась, или поцеловать след ее маленькой калоши, кончик которой он успел заметить, подсаживая ее. Но он сдержал себя, и только когда итальянка проговорила своим певучим голосом: «Merci, monsieur», – он снял с головы шапку и низко поклонился.

Когда он поднял опять голову, итальянка уже отъехала.

– Миша, я умираю, – произнес Карташев, опускаясь на ступеньки подъезда.

– Едем скорей за ней, и ты еще раз ее высадишь.

– Нет, это будет пошло и нахально. Я не поеду, но я умру здесь, не сходя с места, потому что никогда ничего подобного я не испытывал.

– Да, она честная женщина, – сказал серьезно Шацкий, – и она уже любит тебя... Руку, мой друг, и едем ужинать.

– Едем. Но я умер, меня нет... Я остался на этом подъезде. Ты видел все?

– Все видел. Она любит тебя, и она будет наша.

– Моя, ты хотел сказать?

– Твоя, твоя.

– Миша, можно ведь за нее жизнь отдать?

– Можно.

– Стоит, Миша?

– Стоит, стоит.

– А заметил ты ее скромную ротонду?

– Все заметил. Едем ужинать...

Они взяли извозчика и поехали.

После ужина Карташев, которому было не до сна, спросил:

– Разве почитать еще? спать что-то не хочется.

– С удовольствием, – ответил Шацкий. – Едем ко мне и на всю ночь.

– Отлично! Какая глупая книга, а присасываешься к ней, как пиявка.

– Зачем, мой друг, ругать то, что доставляет нам удовольствие, – это уже неблагодарность.

– Согласен, – ответил Карташев. – Ну, а итальянка? Милая! Ах, Миша, я бы две жизни отдал за одно мгновение.

– Две сотенных.

– Миша, не говори таких пошлостей.

– Ну, бог с тобой... А знаешь, давай а la Рокамболь похитим ее... Понимаешь: она выходит вечером... подъезжает карета... два замаскированных господина подходят к ней и говорят таинственно: «Мы ваши друзья, вам грозит опасность, вам необходимо ехать с нами...» Хоп! Ты садишься с ней, я на козлы, и мы скрываемся от всего света. Вот это был бы действительно шик!.. Хочешь?.. По рукам, что ли?! Ну, значит, не любишь... И не стоит с тобой об ней и разговаривать. Завтра же я ей скажу, чтобы она на тебя не обращала внимания.

– Завтра, к сожалению, у нас заседание по поводу Тюремщицы.

– Глупости, хоть под конец, а надо попасть, а то итальяночка обидится.

– Ты думаешь?

– Наверно.

Друзья залились веселым смехом.

– Подумает, что я ей изменил? – спросил Карташев.

– Ну, конечно! – ответил Шацкий, сходя с извозчика.

Войдя к себе и раздевшись, Карташев и Шацкий заказали чай и принялись за чтение. Читали по очереди.

В шесть часов утра Шацкий предложил немного заснуть. Карташев не прочь был и продолжать, но на Шацком лица не было. Он весь сделался какой-то зеленый. Друзья проснулись в двенадцать часов. Сейчас же после кофе чтение возобновилось и продолжалось без перерыва до пяти часов. Так как в шесть часов Ларио и Корнев уже должны были приехать к Карташеву, то Шацкий и Карташев отправились обедать. После обеда Карташев поехал к себе, а Шацкий с таинственным видом заявил, что идет куда-то.

Прощаясь с Карташевым, он на вопрос: «Куда?» – только приложил палец к губам.

– Приедешь сегодня?

– Не знаю, мой друг, ничего не знаю. Все это покрыто таинственным мраком.

И Шацкий с соответственной физиономией скрылся за угол улицы, а когда Карташев отъехал, спокойно вернулся к себе домой.

Карташев приехал домой и в ожидании гостей прилег на диван. Его разбудили прибывшие Корнев и Ларио.

Корнев был торжествен и серьезен, Ларио грустен. Корнев упрекнул прежде всего Карташева за легкомыслие – как он мог серьезно подумать, что он, Корнев, может поставить какой-нибудь диагноз. Затем Корнев рассказал, как для этого он попросил одного окончившего медика поехать с ним, как он осмотрел Тюремщицу и как оказалось, что у Тюремщицы в полном разгаре чахотка.

– Никакой надежды, – кончил Корнев, – вероятнее всего, этою же осенью все кончится во время ледохода, это время – самый мор для всех таких... Да и лучше...

Карташев вспомнил кроткий, робкий взгляд Тюремщицы и вздохнул:

– Несчастливая!

– Жаль, жаль девочку, – сказал Ларио. – А добрая была девочка... И от Марцынкевича, бедненькую, в последний раз с таким скандалом выпроводили...

– Что ж, она знает свою судьбу? – спросил Карташев.

– И знает и не знает, – ответил Корнев, садясь на диван и принимаясь за свои ноги, – как обыкновенно в таких случаях. Перед осмотром говорит: «Хоть осматривайте, хоть не осматривайте, а уж я знаю, что не жилица здесь», а кончился осмотр – смотрит, глаза бегают, спрашивает: «Ну, как же по-вашему?» Доктор замялся, а она в слезы: «Ох, не жилица я!» Стал утешать, говорит, что, если лечиться, – пройдет, – повеселела, слезы вытерла, вздохнула и говорит: «Дай-то господи...» Обыкновенная история... За пять минут до смерти окончательно поверит своему выздоровлению и будет уверять всех, что теперь все прошло... А потом сразу бац, и готово.

– Как же теперь с ней быть?

– В клинику, конечно. Какие уж там машинки, меблированные комнаты... Если можно, похлопочем – даром ее... только субъект ничего интересного не представляет, а уж нельзя будет даром, тогда двадцать пять рублей в месяц: ее денег хватит ей...

– Не хватит, опять можно собрать, – сказал Карташев.

– Я вот, может, урочишком разживусь... не все же голодать, как собака, буду, – проговорил Ларио.

– Все время будешь, – уверенно сказал Корнев. – Ведь ты, как птицы небесные, о завтрашнем дне не помышляешь: есть – спустил.

– Да, вот ты бы посидел в моей шкуре, – ответил Ларио, – три рубля, рубль – какие это деньги? да и то когда попадет! Не больно на них устроишься: только и спустить их по ветру.

А были бы деньги, жил бы и я. Ведь жил же в гимназии, когда урочишки были... Прилично жил... Костюмчик приличный... Пиджачок этакий, коротенький, помнишь?.. Очень мило... Пива каждый день бутылочку...

– А-а! покровитель несчастных, – приветствовал ласково Корнев входившего Шацкого. – Всегда приличный, с иголки, вечно свеж, изыскан и мил...

Шацкий остался очень доволен приветствием Корнева. Он сейчас же впал в свой обычный шутовской тон. Он как-то весь собрался, уродливо поднял свои плечи и, торопливо поздоровавшись со всеми, начал быстро, озабоченно бегать по комнате.

– Все дела, князь, – в тон произнес Корнев, наблюдая Шацкого. – Высшие государственные соображения...

Шацкий мельком взглянул на Корнева и озабоченно продолжал бегать по комнате.

– Вы бы все-таки, граф, присели, а то ваша долговязая фигура не в достаточно эффектном виде, знаете, выходит... получается грубое впечатление этакого, сорвавшегося с цепи...

– Вы, мой друг, имеете склонность забываться.

– Лорд, я прошу вашего снисхождения... Только все-таки сядьте, пожалуйста, а то я чувствую, что не выдержу тона.

– Извольте.

Шацкий повалился на кресло, вытянул длинные ноги и спросил:

– Ну, как же насчет Тюремщицы?

– Ее дело дрянь, – ответил Корнев, принимаясь за ногти. – Она умрет.

– Нескромный вопрос, доктор, – мы все умрем, – когда она умрет?

– Может быть, осенью, может быть, весной.

– Может быть, летом, может быть, зимой, – понимаю... Продолжайте... что мы с ней делаем?

– В клинику помещаем...

– Ну, тогда согласен, что она умрет, и непременно эту же осенью. Пожалуйста, не принимайте за комплимент... Кстати, у меня есть друг... Он опасно ранен на дуэли... Понимаете, кинжалом в грудь... Вы не будете ли добры прописать ему какой-нибудь рецепт... Предупреждаю, это может упрочить за вами репутацию знаменитого врача.

– Лорд, я бедный студент первого курса только и никаких рецептов не даю... Я бы посоветовал вашему другу... кто он?

– Это секрет.

– У него есть рубль?

Шацкий рассмеялся.

– У него половина России.

– Тем лучше. Посоветуйте ему от этой половины России отделить рубль... Понимаете, рубль... и пусть пошлет за врачом...

– Нет ничего легче, как дать глупый совет... Примите это к сведению. Мой друг в таком положении, что ни один смертный его не может видеть. Понимаете?

– Ничего не понимаю.

– Тем хуже для вас. Ну, что в таких случаях дают?

– Это зависит от раны, – пустая царапина – довольно простых компрессов...

– Нет, этого мало... Не можете ли рецептик написать?

– Нет, этого нельзя.

– Вы теряете единственную возможность сделаться знаменитостью.

– Что делать, лорд. Я давно помирился с скромной ролью в жизни... мы люди маленькие.

Это вам...

– Ну, конечно... А жаль, жаль... Вы окончательно не можете дать рецепт?

– Окончательно.

– Так гибнут люди из-за эгоизма других. Бедный Николай! Ты умрешь, а я останусь среди этих отвратительных эгоистов.

– Да расскажите толком, в чем дело? – спросил Корнев.

– Да просто ему пришла идея... – начал было Карташев.

– Мой друг, я про твою итальянку молчу.

– Ого, – произнес Корнев, – я вижу, у вас завязались настоящие дела. Это что еще за итальянка?

– О, это секрет!

И Шацкий сделал весело-таинственную физиономию.

– Понимаете... Темная ночь... Дождь как из ведра... Карета... Два замаскированных господина... Дама под вуалью... Хоп в карету... На рассвете два джентльмена... дуэль... на кинжалах... Хоп... ранен... кровь... «Доктора, доктора!..» доктора нет... «Помогите, помогите!..» Никого... Дождь как из ведра... Вздох, и все кончено.

– Ничего не понимаю.

– Еще бы... Сам Рокамболь и тот опешил, как черт... стоит и ничего не понимает... Убил, сам видел труп... и вдруг стоит перед ним живой... Вот, батюшка мой, какие дела бывают... А вы рецепт дать не хотите...

– Позвольте... Уж если вы хотите рецепт, вы должны меня посвятить. Доктор всегда должен быть в курсе тайн – все доктора друзья дома.

– Граф Артур, как вы думаете?

– Я думаю, он прав.

– Гм, а этот подлец? – указал Шацкий на Ларио.

– Зачем же подлец? – спросил Карташев. – Он ведь наш милый оригинал барон.

– А-а!.. Наш милый барон... Как я рад... Здравствуйте... – И Шацкий принялся трести руку Ларио.

– Здравствуйте, здравствуйте, – отвечал грубо Ларио, – как поживаете, кого прижимаете, с пальцем девять, с огурцом двенадцать...

– Ну, извольте с ним разговаривать!.. То есть никакой порядочности. Ну, как же с тобой разговаривать?

– Нет, ты действительно груб, – вмешался Корнев, обращаясь к Ларио. – Нельзя же, надо помнить, что ухо графа не привыкло.

– Ну, слава богу, хоть один порядочный человек нашелся. Вашу благородную руку, доктор.

– С удовольствием. Но я горю нетерпением, князь, узнать содержание этой таинственной драмы.

– Это надо обдумать... Граф Артур, ваше мнение?

– Я думаю, что мы, лорд, между друзьями.

– Что вы думаете насчет отобрания клятвы... на мече, например?

– Я думаю, достаточно простого слова...

– Слова благородного джентльмена? Вы думаете, Рокамболь ограничился бы только этим?

– Да.

– В таком случае я согласен. Расскажите им, граф...

– Дело в том, что мы уже два дня путаемся с этим... князем... Читаем «Рокамболя», шлемся к Бергу.

– Влюбляемся в актрис и умираем на подъезде. Продолжайте...

– Больше ничего нет.

– А итальянка?

– Певица, – ответил Карташев.

- Обоюдная и нежная любовь, – пояснил Шацкий.
- И уже обоюдная? – спросил Корнев.
- Да врет он.
- Как врет, а подъезд?
- Ерунда! Помог сесть ей на извозчика.
- О-го! – сказал Корнев.
- И после этого получил один из тех взглядов, за которыми следует лишь любовь или дуэль.
- Ну, а карета, таинственные джентльмены, дуэль?
- Фантазия князя.
- Зачем же рецепт?
- Князь находит, что его родители питают к нему недостаточно теплые чувства.
- Очень милая редакция... Граф, *mes compliments*...²² Продолжайте.
- И Шацкий от удовольствия положил ноги на стол.
- И вот, чтобы убедиться в силе этих чувств...
- Именно, – подтвердил Шацкий, поворачиваясь на бок.
- ...Князь хочет прибегнуть... к некоторому давлению...
- *Parfait, mon comte*.²³
- ...и уведомить родных, что по обычаям высшего света...
- Слушайте! слушайте!.. Так говорят в парламентах...
- ...он вынужден был драться на дуэли с графом Артуром на кинжалах и был при этом ранен в грудь...
- Совершенно верно.
- ...А в подтверждение посылает им рецепт знаменитого эскулапа, который берет за визит сто рублей.
- Верно!
- Да... вот что, – произнес разочарованно Корнев. – Но как по-вашему, это... это не пахнет, мой милый князь, шантажом? – спросил он раздумчиво.
- Дерзко и наивно... Позвольте вас спросить: кто наследник моего отца: я или вы? Надеюсь, я. Моему отцу семьдесят пять лет, и у него столько денег, что его это не стеснит; он дрожит над каждым грошом, а я, его сын, который мог бы тратить пятнадцать тысяч, вынужден собирать милостыню... Кроме того, у него состояние и моей матери, которое уже исключительно мое... По вашим буржуазным правилам лучше затеять с ним процесс... Ну, а мы, люди большого света, предпочитаем не огорчать старика и брать от него деньги в том виде, как он может их давать.
- Но почему же вы надеетесь, что он, отказывая вам в необходимом, даст деньги на такую ерунду?
- А это мой секрет.
- Я думаю, секрет заключается в том, – пояснил Карташев, – что старый князь такой же поклонник большого света, как и наш князь.
- Граф, вашу руку.
- Другими словами, – сказал Корнев, – оба, и старый и молодой, помешаны на большом свете.
- Как вы находите, граф, этого господина?
- Я не нахожу слов, князь, – ответил Карташев. – Он просто ее выдерживает роли.
- Именно.

²² поздравляю... (*франц.*)

²³ Прекрасно, граф (*франц.*).

– Да, князь, с вами выдержать роль, – вздохнул Корнев, – трудно, знаете... гороху надо поесть сначала.

– Ну вот... впрочем, оставим этот разговор... Что бы вы сказали, если бы вам предложить почитать «Рокамболя»? – спросил Шацкий.

– Нет, уж избавьте.

– Читал? – спросил Карташев.

– Не читал и ни малейшего желания не имею этой ерунды читать.

– Но ты себе представить не можешь, как это интересно, – воскликнул Карташев. – Стыдно, а интересно так, что не оторвешься.

– И что там может быть интересного?

– Я вот и сам так думал, а начал, и вот уже два дня...

– Странно...

– Жаль, что нет здесь этой книги...

– Она здесь, – ответил а la Рокамболь Шацкий и принес из передней несколько объемистых книг.

– Послушай, – обратился обрадованный Карташев к Корневу, – куда тебе торопиться? Подари сегодняшний вечер, так в быт, нарочно для того, чтобы самому убедиться.

Корнев колебался.

– Да ведь глупо как-то...

– Мой друг, – сказал Шацкий, – помирись с мыслью, что от глупости все равно никуда не денетесь.

– Это как прикажете понимать?

– Очень просто. Жизнь, вообще говоря, глупость?

– С одной стороны, конечно.

– Ну вот: с одной стороны! Поверьте, что со всех... А если жизнь глупость, то и все, что мы делаем, тоже глупость... то есть мы-то делаем всегда только одни умные вещи, конечно, но в итоге получается всегда одна большая глупость. А потому надо попробовать делать глупости – что тогда выйдет? А вдруг умная вещь?

– Оригинально, но не убедительно. Пожалуй, я согласен, – отвечал Корнев.

– А ты, Ларио? – спросил Карташев.

– Я с удовольствием, – я люблю, знаешь, все эти пикантные похождения. Я, положим, читал, но давно, и с удовольствием послушаю.

– Интересно? – спросил Корнев.

– Очень, – ответил Ларио.

– Ну, черт с вами, – согласился окончательно Корнев. – «Рокамболя» так «Рокамболя»...

И Корнев повалился с ногами на диван.

– Так я тебе расскажу сначала, – предложил Карташев и принялся вперебивку с Шацким передавать прочитанное.

Когда Карташев кончил, он спросил:

– Ну что? Интересно?

– Ничего себе, – ответил Корнев.

– А вот в чтении послушай... Кто читать будет?

– Ну, начинай, а там по очереди, – ответил Корнев.

Карташев сел в кресло, подвинул лампу, откашлялся и начал.

– Ну что, Вася? – спросил Шацкий через час.

– Интересно, – снисходительно ответил Корнев.

Еще через час Шацкий повторил вопрос.

– Вы своими вопросами мешаете слушать. Давай я почитаю.

Чтение продолжалось до восьми часов утра, пока не окончили всего «Рокамболя».

– Возмутительно! – проговорил Корнев и стал быстро одеваться.

– Послушай, Вася, – предложил Шацкий, – идем теперь ко мне...

– Я иду домой, – ответил бесповоротно Корнев.

– Вечером к Бергу... Итальяночку...

– Не желаю.

– Ну, и ступай... Идешь ко мне? – обратился Шацкий к Карташеву.

Карташев нерешительно стал думать.

– Идем. Видишь, грязь какая у тебя... Накурено. У меня кофе напьешься, спать ляжешь, а там... дзин-ла-ла... Ну, одевайся... А ты? – обратился Шацкий к Ларио.

– Нет, я домой.

– Конечно.

Одевшись, компания вышла на лестницу.

Карташев точно опьянел от чтения, бессонной ночи, итальянки. Спускаясь и проходя мимо звонка какой-то квартиры, он вдруг изо всей силы дернул за этот звонок. В то же мгновение он бросился к противоположной квартире, дернул и там.

– Послушай, что ты? ошалел? – запротестовал было опешивший Корнев, но, сообразив, что сейчас отворят двери, бросился за мчавшимися уже через две ступеньки Ларио и Шацким.

Карташев понесся за ними и рвал звонки всех встречавшихся по пути квартир.

– Мальчишество, глупо... – по временам оглядываясь на него взбешенный Корнев, но мчался вниз; за ним ураганом неслись другие, а там, вверху, уже щелкали засовы отворявшихся дверей, и одни за другими неслись вдогонку компании отборные ругательства.

Когда все вылетели на подъезд, Корнев, раздраженно проговорив: «Глупо, мой друг!» – не прощаясь, пошел прочь, а Шацкий закричал ему вдогонку:

– Вася, есть еще «Воскресший Рокамболь».

– Убирайтесь к черту!.. – не поворачиваясь, крикнул ему Корнев.

XV

Карташев и Шацкий, в видах сокращения расходов, решили поселиться вместе. Для поправления финансов Карташев заложил часы, шубу, сюртучную пару и, помимо матери, попросил у дяди единовременную субсидию в семьдесят пять рублей, которые вскоре и получил.

Друзья исправно посещали Берга, абонировались в библиотеке, читая книги вроде «Вечного жида», «Трех мушкетеров», «Тайн французской революции», «Королевы Марго», «Графа Монте-Кристо».

В течение месяца оба так и не видели ни разу дневного света.

– Может быть, его уж и нет? – говорил Карташев.

– Во всяком случае, это не важно... – отвечал Шацкий.

Но, собственно, настоящее увлечение первых дней той жизнью, какую теперь зажили Карташев и Шацкий, уже прошло у Карташева. Грызло его и сознание праздности и незаконности такой жизни и, наконец, бесцельность ее. Так, с итальянкой продолжались заигрыванья, но дальше взглядов и улыбочек дело не шло, да и не могло идти, потому что уже один билет в третьем ряду был непосильным расходом.

– Мой друг!.. – говорил ему Шацкий, с расстановкой, точно подбирая выражения, что как бы придавало особый вес его словам, – или объяснись... или дай ей понять наконец, что ты... ну не можешь... плох...

– Конечно, плох, – быстро отвечал, краснея, Карташев. – Я любовь понимаю, если могу любимой женщине дать все, а если я не могу...

Шацкий, не сводя прищуренных глаз с Карташева, качал отрицательно головой.

– Все это очень условно... пять сотенных...

И он вынул из портфеля пять радужных бумажек и показал Карташеву.

– Вот таких.

Глаза Карташева смущенно и с завистью смотрели на недостижимое богатство, но он как мог тверже ответил:

– Это не деньги...

– Да-а? – спросил пренебрежительно Шацкий и спрятал деньги назад. – Если хочешь попробовать, возьми. – Он опять вынул деньги и протянул Карташеву. Карташев не знал, шутит Шацкий или предлагает серьезно. Но Шацкий уже снова спрятал деньги, говоря: – Мой друг, я не хочу быть причиной твоей гибели... Она не стоит твоей любви.

– Да я и не возьму твоих денег.

– Конечно!..

– Потому что раньше двадцати одного года не буду иметь своих.

– Жаль, жаль. Я считал тебя более приличным мальчиком. Ты в гимназии выглядел таким... ну, по крайней мере, тысяч на двести... Такой задумчивый, как будто стоит ему только пальцем двинуть, и Мефистофель уж готов к услугам... а ты, в сущности, только жулик. Да, ты падаешь, мой друг... и я боюсь, что ты, наконец, превратишься в простую кокотку... как Ларио: «Дай рубль на память...»

Такие разговоры коробили и раздражали Карташева. Он был опять без денег, надо было или брать взаймы у Шацкого, или прекратить посещения Берга. Он давал себе обещание не ходить к Бергу, но в восемь часов вечера неудержимо рвался следом за Шацким. Шел неудовлетворенный, томился в коридорах деревянного театра, томился в кресле, слушая те же арии, видя те же движения, томился, смотря на ту же толпу поклонников, которые и во время представления, и в антрактах непринужденно кричали, смеялись и пили шампанское.

Все это было недоступно для него, все это было пошло, даже глупо, но все это какой-то уже образовавшейся привычкой тянуло к себе Карташева, так же тянуло, как тянет пьяницу к водке, не давая в то же время никакого удовлетворения.

– В сущности, что нам делать здесь? – говорил иногда в антракте Карташев Шацкому.

– Говори, пожалуйста, в единственном числе, – резко обрывал его Шацкий, – если бы я хотел, то знал бы, что делать.

И Шацкий убегал от унылого Карташева, бегал по коридорам, выкрикивал свое «дзин-ла-ла», останавливался вдруг, расставляя свои длинные ноги, и смотрел, вытянув шею. А когда поворачивались и смотрели на него другие, он смеялся и с новым криком «дзин-ла-ла» несся дальше. Если он налетал на какого-нибудь гремевшего и сопевшего от выпитого коньяку и шампанского марса и тот грубо отталкивал его, – Шацкий на мгновение краснел, мигал усиленно глазами и опять, с новой энергией, отчаянно выкрикивая и ломаясь, стремительно несся дальше.

В своих сношениях с Карташевым он все больше и больше стал походить на прежнего «идиота» Шацкого, малоостроумного, малоинтересного, нахального и бесцеремонного. Между Карташевым и им происходили нередко грубые и резкие стычки, причем Шацкий спокойно язвил Карташева, задевая самые больные места его, а Карташев, сделавшись вспыльчивым, как порох, кричал и ругался.

Но к вечеру мир всегда восстанавливался, и они опять шли оба к Бергу.

Однажды Шацкий после такой ссоры, проснувшись утром раньше обыкновенного, озабоченно умывшись и напившись чаю, куда-то исчез, а Карташев с горя, почувствовав еще большую пустоту, повернулся на другой бок и проспал до его возвращения. Были уже сумерки, когда Шацкий вошел. Он понюхал воздух, окинул взглядом неубранную комнату, застывший на столе самовар и проговорил брезгливо:

– Какая гадость! как свинья... В комнате вонь, черт знает что такое...

Карташев открыл распухшие от сна глаза.

– На что ты похож? Бледный, истасканный...

– Не твое дело, – угрюмо ответил Карташев.

– И это Тёма... красавчик по мнению коров, гордость матери!

– Послушай! – вскипел Карташев.

– Что – драться?! То есть окончательно юнкер какой-то.

Шацкий остановился перед Карташевым.

– Хорош!

Он посмотрел еще, покачал головой, вздохнул и отошел. Немного погодя он уже своим обычным спокойным голосом сказал:

– А я на лекциях был.

Карташев молчал.

– А ты что ж? совсем раздумал ходить на лекции?

– Ты бы нанял квартиру еще дальше от университета, – ответил нехотя Карташев.

– Да-а... я виноват... Ну-с, хорошо... Читай!

Карташев взял из рук Шацкого афишу с анонсом о бенефисе итальянки.

– Что скажешь? – спросил Шацкий, когда Карташев, прочитав, положил молча на одеяло афишу и закрыл глаза.

– Я не пойду, – ответил мрачно Карташев.

– О-о! Мой друг! ты, как Антоний в объятиях Клеопатры, потерял все свое мужество... Артур, мой друг, что с тобой? Где, где то время золотое, когда, беспечный, ты носился на своем Орлике по степям своей Новороссии... Артур! вспомни о предках своих... Владетельный некогда князь Хорват... Потомок мрачных демонов с их нечеловеческими страстями...

И вот последыш их... последнее слово науки, дитя конца девятнадцатого столетия... не вкусивши жизни, уж отошедший под тень ее...

– Перестань ерунду нести.

– О мой друг! ты мрачен, ты, как царь Саул, ищешь меча... Музыку, скорей музыку и чудный голос неземной... Сюда, итальянка, небожительница, и развлеки мне моего Тёму... Тёма! букет итальяночке!

Карташев отвернулся.

– Что?! Ты молчишь! Артур, мой друг! Ну, что же ты?

И Шацкий до тех пор приставал, пока Карташев не ответил тоскливо:

– Оставь! Меня действительно мучит, что мы такую жизнь ведем.

– Мой друг! Нам, с нашим сердцем и умом, мучиться такими вещами?! Оставим это холюям. А мы гении нашего времени, мы проживем иначе. Вспомни Байрона... Манфреда... мрачные скалы, демоны, Фаусты... прочь все это! Мы «дзин-ла-ла»! Поверь, мой друг, мы проживем умнее Манфреда, всех Байронов e tutti guanti...²⁴ Надо жить, пока огонь в крови, пока итальянки еще существуют. Во-первых, букет, во-вторых, карточку, ужин и... будь что будет. Одно только мгновенье, и вся остальная жизнь хлам, никому не нужный... и знаешь, мой друг, все это не больше сотенного билета... Да! вот тебе и деньги. Отдашь, когда можешь. Мой друг, сделай мне одолжение... прошу!

– На букет возьму, а больше ни за что. Но я отдам тебе эти деньги только на рождество.

– Хорошо, хорошо... хоть букет, а там видно будет.

На букет и ленты ушло двадцать пять рублей.

Букет принесли утром в день бенефиса. Карташев и Шацкий проснулись вследствие этого раньше обыкновенного.

– Очень мило, – серьезно говорил Шацкий, держа букет в руке и любуясь им издали. – Нет, за такой букет, пожалуй, итальяночка будет наша.

Карташев начинал допускать такую возможность.

Вид и нежный аромат букета целый день навевали какое-то приятное очарование. Точно сама итальянка была уже у них в комнате, точно у них были настоящие связи со всем этим закулисным миром, как у тех постоянных посетителей первых рядов и литерных лож, которых они ежедневно встречали в театре.

Но надежды, возлагавшиеся на букет, не оправдались: другой, громадный с широкими лентами букет затмил карташевский.

– Она не знает, какой именно мы поднесли; это еще лучше, – энергично поддерживал Шацкий смутившегося Карташева.

Но итальянка, свежая, возбужденная, улыбалась не в сторону Карташева, а в литерную ложу, где смущенно сидел в числе других молодой, изящный гусар, красивый, с выразительными глазами. Карташев растерялся, оскорбленный до глубины души. Ему хотелось встать и крикнуть ей и всем, что он знает теперь всю ложь и фальшь и ее и всех этих разряженных дам. Но он не двинулся с места.

Подавленный, сидел он перед спущенной занавесью первого антракта, и ему не хотелось оставаться в театре, не хотелось уходить, не хотелось думать, смотреть, жить. Вся жизнь казалась такой пустой, глупой, не имеющей никакой цели... Провалиться и забыть навеки, что и жил, чтоб и тебя забыли...

– Мой друг! ты окончательно оскандалил меня!.. – приставал Шацкий, – ты меня в такое положение поставил, что хоть в воду.

– Да оставь же ты, пожалуйста, – с досадой ответил Карташев, – не всегда же твое, наконец, шутовство интересно.

²⁴ и всех прочих... (итал.)

– Шутовская роль, кажется, не мне принадлежит во всей этой истории.
– Да ты просто глуп, мой друг.
– Позволь, – резко перебил Шацкий, – почему я глуп? Потому, что твой друг, или твой друг, потому что глуп?

Карташев вскочил.

– Позволь мне пройти...

– Изволь, изволь, – быстро подбирая ноги, пропустил Шацкий. – Но, надеюсь, ты хоть здесь не будешь драться.

Карташев ничего не ответил и, выйдя в коридор, стал одеваться. В дверях, когда он уже оделся, показалась фигура Шацкого, который, по-видимому, небрежно смотрел на публику, а на самом деле внимательно следил за Карташевым и не верил, что он действительно уйдет.

Карташев, встретив взгляд Шацкого, еще решительнее направился к выходу.

Приехав домой, он заказал самовар и вытащил из лекций какую-то немецкую брошюрку в шестьдесят страниц. С словарем в руках он сел за письменный стол, взял в руки карандаш и начал читать, стараясь ни о чем другом больше не думать.

Но с первых же прочитанных фраз начался знакомый сумбур в ощущениях, и рядом с этим сумбуром в голову ворвались совершенно ясные мысли об итальянке, о Шацком и о всей их несложной жизни.

– Но ведь это кабак... это голый разврат! – с отчаянием твердил он себе.

И в то же время без мысли, без рассуждения тянуло его назад в театр, так тянуло, что слезы готовы были выступить из глаз, и так отчетливо и так ясно по слогам и по мотиву напевались слова:

*Folichon, fo-li-cho-nette...*²⁵

Так и бросил бы все и опять поверил бы и этой простоте, и этой патриархальной, беззаботной веселости, опять пошел бы и, сев уютно рядом с Шацким, сказал бы:

– Зачем нам ссориться? жизнь так коротка. Будем верить и не будем стараться проникать за кулисы этой жизни.

Карташев все-таки выдержал характер и не пошел к Бергу в тот вечер. Томясь и тоскуя, он то пил чай, то лежал, то ходил и все мучился, что сегодняшний вечер так-таки и пропадет у него даром.

А на другой день он опять был у Берга и опять по-прежнему стал ходить каждый вечер. Хотя букет и разбил все иллюзии, но осталось что-то ремесленное: в театре было скучно, а если не шел – было еще несноснее.

Итальянка не обращала на него больше никакого внимания. Карташев чувствовал унижение и, всматриваясь, уже как посторонний зритель, не мог не признавать, что лицо ее загоралось настоящим счастьем, когда в ложе появлялся красавец юноша в гусарской форме.

Ярко, с мучительной болью, в какой-то недостижимой рамке блеска и прелести вырисовывались перед ним и этот полный жизни гусар, и итальянка. Под впечатлением таких мыслей Карташев говорил Шацкому:

– А ты знаешь, когда мне было десять лет, меня тоже требовали в пажеский корпус.

– Ну и что ж?

– Мать не пустила.

– Напрасно.

– Теперь бы я уж был...

– Обладателем итальянки...

²⁵ Весельчак, весельчонок... (франц.).

– Я не желаю ее.
– Не желаешь? А ну-ка, посмотри мне прямо в глаза, как матери посмотрел бы... Стыдно, Тёма, ты научился врать...

Однажды Карташев попросил у Шацкого денег.

– Сколько? – спросил тот.
– Пятнадцать.
– Зачем тебе столько?
– Мне надо... билет в театр...
– Я тебе возьму.
– Да что ты мне, опекун, что ли?
– У меня мелких нет...

Шацкий и дальше стал давать по мелочам, – водил его с собой в театр, но от выдачи на руки более крупной суммы под разными предложениями уклонялся.

Однажды Карташев, чтобы избавиться от неприятной и постоянной зависимости, начал настоятельно требовать двадцать пять рублей.

– У тебя теперь есть мелкие...

Шацкий замолчал, поднял брови и с соответственной интонацией спросил:

– Ты знаешь, сколько ты уже взял?
– Сорок рублей... Двадцать пять на рождество, а пятнадцать, как получу, отдам.
– А жить на что будешь?
– Не твое дело, – покраснел Карташев.
– Конечно... но дяде ты написал бы?

Карташев молчал.

– Если ты напишешь дяде, я дам тебе хоть сто рублей.

– Я не желаю больше с тобой разговаривать.

– Я должен тебе сказать, мой друг, – вспыхнул Шацкий, – что ты делаешься окончательно несносным.

Приятель поспорились.

Шацкий оделся и ушел. Перед уходом ему надо было что-то взять там, где сидел Карташев, и он, протянув руку, сухо сказал:

– Извините.

Со дня на день Карташев ждал повестки из дому, и чего бы ни дал, чтобы получить ее сегодня и, выкупив вещи, неожиданно явиться в театр и сесть в первом ряду кресел, назло Шацкому.

Но ни повестки, ни денег не было.

Пробило восемь часов. Шацкий, очевидно, в театре и теперь окончательно не придет. Надо достать денег и идти в театр, – надо без рассуждений. Висело на вешалке только осеннее пальто, которое, при общем закладе его вещей, забраковал Шацкий.

Карташев взял пальто, чтобы заложить в первой попавшейся кассе ссуд, но неожиданно встретился в передней с Корневым.

– Васька! Какими судьбами? – обрадовался Карташев.

– Да вот, к тебе. Билет на завтра в «Гугеноты» брал... Ну, думаю, чаю напьюсь.

Карташев повел Корнева к себе.

– Ты что ж сегодня не в оперетке?

Карташев весело улыбнулся.

– Я больше к Бергу не хожу.

– Вот как. Чего ж это?

– Надоело.

– Очень рад за тебя. Я никогда не мог понять этого влечения. Ну, я понимаю еще оперу, драму: там есть чем увлекаться. Но что такое оперетка? ведь это просто балаган, даже физического удовольствия нет. Я понимаю... ну тех, гусаров, им доступно все это, а ведь вы облизываетесь только...

Лица Корнева побледнело и перекошилось: он смотрел и едко и смущенно своими маленькими заплывшими глазами в глаза Карташева. Но в голосе его было столько убежденности, искренности и благорасположения в то же время, что Карташев не только не обиделся, но под впечатлением всех своих неудач ответил:

– Да, конечно.

– Ты скажи, ты был хоть раз в опере?

– Нет; да там никогда ведь билетов нет.

– Надо заранее. Я для этого сегодня и отправился. Жаль, а то бы я и тебе взял. Я, положим, имею один билет для товарища... Дать разве тебе...

– В раек? – нерешительно спросил Карташев.

– Ну, конечно... Послушай, Карташев, оставь ты холуям морочить самих себя. Право, и в райке прекрасно, а сознание, что при этом и по средствам сидишь, должно только усилить удовольствие. Я не знаю, впрочем... так моя философия, по крайней мере, говорит мне.

– Да, конечно, это важно. Что ж? Я согласен.

Корнев просидел у Карташева весь вечер. Время в разговорах летело незаметно.

– Черт его знает, – говорил Корнев, – скучная жизнь... Сегодня, как завтра, завтра, как сегодня... Я теперь перечитываю классиков...

– Мало того, что мы сами классики?

– Какие же мы сами классики? Грамматику Кюнера вызубрили...

Корнев усиленно грыз ногти, напряженно смотря перед собой.

– Глупая жизнь, – с горечью снова заговорил он. – Целый ряд вопросов... В литературе какой-то туман, недосказы, намеки и проза, проза... щедринские зайцы. Помнишь: «Сиди и дрожи, пока я тебя не съем, а может быть, ха-ха, я тебя и помилую».

– Откуда это?

– Ты, однако, ничего не читаешь... Волк зайца поймал, а есть ему не хочется, ну и говорит: сиди и дрожи. А у зайца зайчиха должна родить. Просит заяц волка отпустить его. Отпустил на честное слово.

– Ну? – заинтересовался Карташев.

– Ну, прибежал назад заяц. Сидит опять и старается и виду не подать, что вот он, заяц, слово сдержал.

Корнев опять принялся за ногти.

– Мог и не сдержать, – произнес он раздумчиво.

– Какой остроумный Щедрин!

– Да-а... Это, впрочем, не мешает тебе его не читать. Все «Рокамболей» жарите?

– Нет, надоело уж и это.

– Пора.

Пришел Шацкий.

– А-а! это вы... – небрежно ломаясь, протянул он Корневу руку в перчатке.

– Ну-с, вы собачью-то кожу снимите сперва.

Шацкий начал медленно стаскивать перчатки.

– Ну-с и что ж? Режете, потрошите и за счастье считаете, не вытирая рук, завтракать потом?

– Во-первых, не кричите.

– Я, кажется, у себя дома... а во-вторых?

– Во-вторых, оставьте нас, маленьких людей, лучше в покое.

– Понимаю...

Шацкий понюхал воздух.

– Сплетнями пахнет... успели...

Шацкий хотел сесть в кресло, но в это время Карташев, вскочив, бледный и взбешенный, бросился на него, и Шацкий, вместо того чтобы сесть, желая быстро подняться, не удержался и с креслом опрокинулся на пол.

Падение Шацкого расхолодило гнев Карташева, но Шацкий взбесился.

– Что ж ты наконец, – сказал он, поднимаясь, – окончательный разбойник?

– Молчать!..

– Ну, вот вам, извольте, – обратился Шацкий к Корневу.

– Я решительно ничего, господа, не понимаю.

– Да эта скотина воображает, что я без него тут тебе сплетничал на него...

– Об вас ни одного слова не было.

– Да и нечего говорить было, хоть бы и хотел. Что я тебе денег не дал? Во-первых, тебе на букет двадцать пять рублей дал; во-вторых, пятнадцать ты взял; в-третьих, когда ты опять попросил, я только и сказал, чтобы ты опять дяде написал...

Карташев стоял растерянный, сконфуженный и не смотрел на Корнева.

– Я сам отказался, во-первых, от твоих денег, а во-вторых, я сказал тебе, что отдам деньги не сегодня-завтра.

– Только пятнадцать.

– Все сорок.

– Это новость...

– Ну, так вот знай; а в-третьих, с получением денег я от тебя уезжаю.

– Не удерживаю.

– Тоже идиот и я был... с таким господином связаться.

– Я думаю, теперь, когда между нами все кончено, можно бы и не ругаться?

– Ну, мне пора, – поднялся Корнев и, не смотря на Шацкого и Карташева, стал прощаться.

– Прощайте, прощайте, доктор, – говорил Шацкий таким тоном, как будто ничего не произошло.

– Билет я тебе передал? – сухо спросил Корнев.

– Да; деньги тебе сейчас?

– После.

– Это куда? – поинтересовался Шацкий.

– В оперу...

– В небеса, в рай, конечно...

– Да, конечно.

– По чину?

– Да, да... – с презрением, скрываясь за дверь, ответил Корнев.

Карташев пошел его провожать. Они молча дошли до дверей.

– Это что за букет еще? – угрюмо спросил Корнев.

– Да эта дурацкая, глупая история.

Карташев смущенно наскоро рассказал, в чем дело.

Корнев сосредоточенно выслушал.

– Я советую тебе действительно поскорее разъехаться с этим господином. Ведь так не долго и... совсем разменяться.

– Пустяки!.. Ну, посмотрел на другую жизнь. Я непременно разъедусь, как только получу деньги.

– Тебе много надо? Завтра я тебе рублей пятнадцать мог бы дать.

– Я тебе сейчас же, как получу, отдам. Я тогда сейчас же и перееду. Здесь просто клоака.

– Ну, так я завтра в театр принесу. Прощай... Послушай, ты все-таки не давай себе воли. Что ж это такое? чуть что, драться лезть. Это уж совсем какое-то юнкерство.

– Да с ним совсем с толку собьешься. Язвит, бестактный, бесцеремонный.

– А когда захочет, может другим быть. Ну, прощай.

Карташев возвратился в комнату спокойный, скучный и задумчивый. Не было больше ни гнева, ни раздражения; хорошо ли, худо ли, но вышло так, что приходилось сказать ему решительно: конец.

Шацкий тоже что-то чувствовал и без ломаний, усталый и скучный, раздевался. На другой день они оба не сказали ни слова друг другу, – вечером Шацкий отправился к Бергу, а Карташев в Мариинский театр.

Сперва он сидел там грустный, равнодушный.

В антрактах Корнев напевал ему вполголоса арии и твердил:

– Прекрасная опера...

– И мне нравится... – после третьего действия заявил Карташев, – обыкновенно новую вещь мне надо раз десять прослушать, прежде чем что-нибудь пойму, а тут как-то я и музыку, и мысль, и, именно через мысль, музыку понимаю... Танец цыган.

Корнев вполголоса начал напевать.

– Ах, какая прелесть! – вспыхнул Карташев.

В передаче Корнева ему еще больше понравился мотив.

– Нежная, больная мелодия... И под нее засыпают страсти, но чувствуется, что вот-вот искра, и они опять с новой силой вспыхнут... И все так тонко... Декорации... Ты заметил сумерки: нежный, нежный просвет, а темные, страшные тучи уже ползут, надвигаются: одна половина города уже охвачена мраком, а другая еще в ясных, золотистых сумерках. В этом контрасте такая непередаваемая, какая-то неотразимая сила: и покой, идиллия, и как будто эти тучи и не надвинутся... А они уж тут... И музыка, и больные страсти больных людей... Как будто в жару, в бреду... Нет, хорошо... прелесть. Осмысленная опера.

Корнев слушал восторженные похвалы Карташева, грыз ногти, что-то думал и, когда Карташев кончил, сказал:

– Вот видишь, как ты можешь чувствовать, а сам из Берга не выходишь...

– Ах, какая прелесть! Ах, какая прелесть! – говорил Карташев, одеваясь после оперы. – Я весь в огне этого зарева, музыки, страстей!.. Туда бы, Вася...

– Едем ко мне, – позвал Корнев.

– С удовольствием.

Они вошли в комнату с ароматом и впечатлениями театра. У Корнева на столе лежал Гете, и Карташев стал перелистывать книгу.

– Ах, вот откуда привел на первой лекции наш профессор.

И Карташев прочел громко:

*Так возврати те дни мне снова,
Когда я сам в развитии был,
Когда поток живого слова
За песнью песню торопил,
Когда я видел мир в тумане,
Из ранней почки чуда ждал...*

– А мы уж не ждем, Вася, из почки чуда...

*Я был убог и так богат,
Алкая правды, и обману рад.*

*Дай тот порыв мне безусловный,
Страданий сладостные дни,
И мощь вражды, и пыл любовный,
Мою ты молодость верни!*

Карташев продолжал перелистывать «Фауста».

– Как-то чувствуешь свою молодость, когда читаешь такие книги... Нет, как только перееду на новую квартиру, сейчас же примусь за классиков: Гете, Шекспира, Гейне, Виктора Гюго, Жорж Занд...

– Ты «Консуэло» ее читал?

– Нет.

– Очень поэтичная и художественная вещь, и интересная.

– С «Консуэло» и начну... Нет, в самом деле, надо работать... И знаешь, я перееду на Петербургскую.

– Кстати... возьми деньги... Только сейчас же, как получишь, отдай...

– Сейчас же, Вася... Так в таком случае я завтра же и пойду искать комнату.

Карташев прошелся.

– И отлично... пятнадцать рублей хватит вполне... По крайней мере, начну экономничать, а то совестно просто... Нет, окончательно решено... – прибавил он после некоторого раздумья.

Он весь охватился своей новой мечтой жить на Петербургской стороне, где так тихо, уютно, где все так напоминает родину, где он будет читать классиков, будет работать над своим образованием... Он приедет домой, к матери, блестящим, образованным...

Глаза его загорелись от новой, пришедшей ему вдруг мысли.

– Васька, я бросаю курить.

– Да ты хоть не сразу все это, а то навалишь на себя разных обуз и сам же себя сделаешь несостоятельным...

– Ничего... – ответил Карташев, – даю честное, благородное слово, что бросаю курить...

– Ну... – огорченно махнул рукой Корнев.

– Васька, смотри...

Карташев открыл форточку, вынул кожаный портсигар, показал Корневу и весело швырнул его за окно.

– Послушай... Ну это уж глупо... Отдал бы кому-нибудь...

– Черт с ним... Теперь шабаш...

Карташев сидел немного смущенный, но довольный.

– Рылю, – спутал ему волосы Корнев. – Ну, теперь закури...

– Нет...

На другой день Карташев прямо от Корнева отправился на Петербургскую сторону искать квартиру, все в том же возбужденном, удовлетворенном настроении.

Ему хотелось курить, и Корнев подзадоривал:

– Покури...

Но Карташев с видом мученика твердо повторял:

– Нет, нет.

– Ну, молодец... – говорил ласково Корнев.

XVI

На Кронверкском проспекте, против Александровского парка, на воротах чистенького деревянного домика с мезонином Карташев увидел билетик о сдающейся комнате и, войдя во двор, позвонил у подъезда.

Ему отворила молодая горничная с большими черными глазами, которые смотрели с любопытством и интересом.

– Здесь отдается комната?

– Здесь, пожалуйста...

Карташев вошел в прихожую и, пока раздевался, слушал звонкие трели разливающихся канареек. Было тихо и уютно.

Там дальше кто-то играл на рояле, и по дому отчетливо неслись нежные звуки «Santa Lucia».

На Карташева пахло деревней, когда, бывало, под вечер, Корнев и его сестры где-нибудь у пруда пели среди догорающей зари и аромата вечера:

*Лодка моя легка,
Весла большие...
Sa-a-nta Lu-ci-a.*

«Вот хорошо, – подумал Карташев, – и музыка, и какая прекрасная».

Его ввели в нарядную, потертую, но опрятную гостиную, где стояла очень пожилая, как будто усталая, худая дама, с наколкой, в нарядном темном платье, точно в ожидании гостей.

Карташев неловко поклонился под внимательным взглядом дамы.

– У вас комната сдается.

– Позвольте узнать, с кем имею честь говорить?

Карташев отрекомендовался.

Карташев сел и выдержал целый экзамен.

Может быть, он влюблен? В таком случае она не может допустить никаких дамских посещений. Может быть, он курит? Тогда, к сожалению, она тоже не может, потому что свежий воздух дороже всего. Может быть, он пьет, кутит, играет в карты; может быть, у него товарищи слишком шумные?

Ответы оказались удовлетворительными.

– Ну, в таком случае вам и комнату можно показать... Пожалуйста...

Комната, куда вошел Карташев, была очень оригинальна. В ней стояли старинные бархатные кресла, старомодный с громадными ручками диван, как будто открывавший свои объятия, зеркало с высокими стеклянными подсвечниками в бронзовой ажурной оправе, массивный письменный стол со множеством ящичков. Только кровать да два-три стула говорили о чем-то более современном и своей скромностью составляли резкий контраст с остальной обстановкой.

Карташев с удовольствием прошелся по комнате, заглянул в окно, а хозяйка стояла у дверей и, казалось, с высоты своих каких-то мыслей пренебрежительно смотрела и на эту комнату, и на юного Карташева, который чему-то радовался, волновался, чего-то точно искал и ждал там, где она уж ничего не искала и не ждала. Ее слегка меланхоличный, слегка пренебрежительный вид как бы говорил: «Не такие, как ты, искали... в свое время и тебя все та же пыль времени покроеет...»

Она вздохнула.

– Мне очень нравится комната... Можно узнать ее цену? – спросил Карташев.

– Десять рублей.

– Я согласен... Вот деньги...

Он подал десять рублей.

Карташев отдал деньги и вышел с хозяйкой из комнаты.

– Верочка! – крикнула хозяйка.

И когда явилась уже знакомая горничная с хорошеньким лицом и большими бархатными, какими-то пустыми глазами, дама сказала:

– Проводи господина... Он теперь наш... комнату нанял, – пояснила она.

Верочка подарила Карташева выразительным взглядом, но хозяйка, заметив этот взгляд, опять задумалась.

– Еще два слова. Верочка, выйди... – И, когда та, вильнув хвостом своих юбок, вышла, она сказала Карташеву: – Верочка, в сущности, моя воспитанница и очень порядочная девушка. За нее сватался лавочник здесь... может быть, я и соглашусь... Я ставлю условием, чтобы никаких ухаживаний у меня не было в доме.

Карташеву показалось, что слишком много условий уже поставлено ему, и он уже не с такой охотой, а значительно суше, но согласился и на это.

– Ну, тогда пожалуйста, с богом.

Верочка проводила его.

– До скорого свиданья!.. – ласково сказала она.

– До свиданья, – ответил Карташев. – Я часа через два приеду.

Карташев ехал и был очень доволен: так патриархально и так не похоже на все окружающее. Оригинальная хозяйка... оригинальная Верочка и комната оригинальная, старинная... а в кабинете хозяйки, через который он проходил, громадный камин, вроде тех, которые попадают на гравюрах вальтер-скоттовских романов... Да, будет уютно и хорошо.

Дома на столе Карташева застала повестка на семьдесят рублей. Эти двадцать рублей прибавки были как нельзя более кстати. Шацкий спал еще. Карташев отправил повестку к дворнику с просьбой сейчас же засвидетельствовать и начал поспешно укладываться.

Когда принесли повестку, он съездил получить деньги и, возвратившись, приказал выносить вещи.

Шацкий, неумытый, скучный, ходил по комнате.

– Позволь с тобой рассчитаться.

– Мой друг, к чему же торопиться.

– Я получил деньги и уезжаю.

Карташев отсчитал ему сорок рублей.

– Прощай, Тёма, – сказал грустно Шацкий, – можно навещать тебя?

– Пожалуйста, очень рад буду...

– А то оставайся... в оперетку...

Карташев только рукой махнул. Шацкий шутил, но в голосе его звучало сожаление. Жаль вдруг и Карташеву стало и Шацкого, и всю прожитую с ним жизнь, и на мгновение потемнела яркая тишина Петербургской стороны. В памяти встала вся налаженная жизнь их вдвоем, театр Берга, итальянка. Карташеву хотелось и возвратить все это назад, и какая-то сила уже толкала его вперед. Он шагал в раздумье по лестнице, искал в голове какого-нибудь утешения и вдруг вспомнил:

– Сейчас же абонируюсь и возьму «Консуэло».

XVII

Карташев, перебравшись и пообедав у хозяйки, осведомился о библиотеке и, несмотря на метель, отправился пешком, абонировался и, взяв «Консуэло», возвратился домой. От непривычной ходьбы и всей окружавшей его обстановки он ощущал в себе тоже что-то деловое и, раздеваясь, озабоченно и деловито попросил Верочку подать ему самовар.

Войдя в комнату, он зажег лампу и, присев в бархатное кресло у стола, с удовольствием и в то же время с грустной покорностью судьбе открыл книгу.

Там, за окном, все стонала буря, а там, за бурей, где-то ярко горели керосиновые лампочки деревянного театра, где пела итальянка.

Прости-прощай, веселая жизнь. Теперь кто-то играл за перегородкой... теперь Верочка смотрела своими бархатными глазами; теперь он далеко от соблазнов в своей уютной комнате, и уже выступают перед ним из книги чужие места красивого яркого юга, какой-то загорелый с голыми ногами юноша, хижина девушки, смуглой красавицы юга, с красным платочком на голове. Еще глуше завывала буря, и точно дальше уносила она и итальянку и Шацкого.

Напившись чаю, Карташев продолжал чтение. Вдруг он вспомнил, что надо написать письмо к матери и, оставив книгу, с удовольствием сел за письмо.

За большим письменным столом так удобно было сидеть и так хотелось писать. Теперь он знал, что письмо выйдет и большое и душевное, вышло и веселое. Его подмывало еще писать, описать свои похождения с Шацким, но он не знал, как отнесется к этому мать... писать же хотелось, и Карташев, взяв на всякий случай новый лист, начал писать, не зная сам, пошлет или нет это новое письмо матери.

«Какие глупости я нишу, однако, – мелькало в его голове, – а главное, все выдумываю». Карташев продолжал писать, думая: «Все равно, я потом порву».

Он писал о себе и о Шацком. Но как-то выходило, что это был не он и не Шацкий, и это было так смешно, что Карташев иногда фыркал, стараясь удержаться, чтоб не услышали его за дверью, чтоб не увидала его смеющимся, войдя вдруг, Верочка и не приняла за помешавшегося.

Перед ним носились какие-то образы, какие-то одна смешнее другой сцены, какие-то лица, живые, точно он с ними давно был знаком и знает про них все до самой подноготной, знает, что делают они, думают, говорят. Исписав несколько листов, Карташев вдруг остановился и подумал:

«А вдруг я писатель?»

Он писатель?! Из-под его пера, может быть, уж выходят образы живых людей, вечно живых, которые будут существовать и тогда, когда и его уж не будет. И такой коротенькой показалась ему его собственная жизнь: сколько таких коротеньких жизней проходят, как тени, не оставляя никакого следа? Стоит ли жить для того только, чтобы с органической жизнью кончилось все, жить, чтобы только есть, пить, спать; думать о том, чтобы и завтра было бы что есть и пить...

Карташев откинулся в кресло и смотрел перед собой.

В ночной тишине пробило два часа. А завтра он хотел в восемь уже встать. Карташев быстро разделся, лег и потушил лампу.

Но долго еще он ворочался, пока заснул наконец тревожным, прерывистым сном.

Под утро ему снилось, что он плывет по волнам. В этих волнах какая-то очаровательная музыка; они то расходятся, то снова набегают на него, принося с собой еще более чудные звуки.

«Это Вагнера сказка „Мила и Нолли“,» – думает, охваченный какой-то особой негой, Карташев и просыпается.

День светлый, морозный. Солнце играет в комнате. Музыка за дверью, торжественная, сильная, несется по дому. Какая-то особая гармония и радость жизни.

«Что случилось со мной радостное?» – думает Карташев.

Ах, да! он писатель!

Что-то точно распахнулось, какие-то образы опять ворвались, – легкие, воздушные, нежные, как музыка, и Карташев лежал уже в живых волнах этих образов, этой музыки.

Он писатель! Эта музыка уже зовет его к перу; Верочка подает ему самовар; он будет писать, а там...

Карташев вздохнул всей грудью; нет, никогда он не думал, что жизнь может быть так прекрасна, может так захватить, как теперь захватила вдруг его. И курить уж не хочется... нет, еще хочется.

Дни шли за днями. Работа кипела. Карташев не смущался больше тем, что у него истощится материал.

Иногда его охватывал такой наплыв образов и мыслей, что он бросал перо и убегал в парк. Там он ходил; ветер шумел голыми вершинами, но он не чувствовал ни ветра, ни зимы.

Он поднимал голову, смотрел в серое небо и видел другое, которое было в нем, внутри него, – безоблачное, прекрасное небо и яркое солнце. Под этим солнцем жили его герои, и он не уставал переносить их на бумагу.

И он писал и писал, забыв обо всем. Изредка навещал его впавший в полную нищету Ларио, еще реже Корнев. Карташев кормил Ларио, давал ему денег и ни слова не говорил ни ему, ни Корневу о своем писании.

Приехал и Шацкий как-то. Карташев и его принял с загадочным, рассеянным видом.

– Да, вот... – говорил Шацкий, осматривая комнату Карташева, – я так и знал, что этим кончится... и счастлив?

– Вполне.

– А итальянка?

– Она умерла для меня.

– Все кончено?

– Да.

– Да, да... – вздохнул Шацкий. – Ну, что ж, декламируй теперь, мой друг!..

И Шацкий с напускным пафосом произнес:

*Ну, хорошо, теперь ты власть имеешь!
Сбей этот дух с живых его основ
И низведи, коль с ним ты совладеешь,
Его до низменных кругов.
Но устыдись, узнав когда-нибудь,
Что добрый человек в своем стремленьи темном
Найти сумеет настоящий путь...*

– Вот он, добрый человек... нашел настоящий путь...

Шацкий пренебрежительно фыркнул и смотрел на Карташева.

Карташев смотрел на Шацкого и думал в это время о какой-то сцене из своих писаний.

– Но что с тобой, мой друг... я боюсь, наконец, за тебя?

Он заходил справа, заходил слева, оглядывая внимательно Карташева.

– Qu'est ce qui a change cet imbecile?²⁶

²⁶ Что изменило этого повесу? (франц.)

Но Карташев только весело смеялся.

– Нет, ты окончательно погиб... Ну, прощай...

– Прощай, Миша.

– А итальянка теперь еще больше похорошела... спрашивала о тебе... Да, да... Но теперь уж Nicolas твой заместитель.

– Такого же дурака валяет?

Шацкий рассмеялся, но потом грустно сказал:

– Осмеивать самого себя... что может быть обиднее?

– Господи, что ж ты себе думаешь? Ты, с твоим сердцем и умом... в парижском фраке...

– Если не ошибаюсь, это из «Старого барина»?

– Все равно...

– Одевайся, забирай вещи и едем... живо! на старую квартиру, а вечером к Бергу.

– Нет, Миша.

Шацкий замолчал и устало задумался, смотря в окно. День подходил к концу; из окна виднелся освещенный парк; лучи солнца скользили по снегу, окрашивая его в розоватый отсвет. Что-то будто шевелило душу, звало куда-то. Точно сны детских дней, какие-то грезы светились в этом розовом снеге. Карташев вздохнул всей грудью.

– Ну, а твои дела как? – спросил он.

– Плохи, мой друг, – грустно ответил Шацкий, – если не пришлют мне денег, я впаду в нищету...

– Пришлют...

– Конечно... Ну, едешь? Нет? В таком случае прощай. Я чувствую, что задыхаюсь здесь...

Карташев с Верочкой проводили Шацкого.

– Что ж ты делаешь? – спрашивал уже весело Шацкий, пока Верочка отпирала дверь.

– Занимаюсь, читаю, слушаю музыку, разговариваю.

Шацкий не слушал Карташева. Расставив ноги, он смотрел в упор на Верочку, и его лицо расплылось в глуповатую улыбку. Верочка наконец не выдержала и потупилась от разбиравшего ее смеха.

Шацкий остался доволен.

– Недурна, – говорил он Верочке в лицо и, любуясь ею, твердил: – Мило... Даже очень мило...

И вдруг закатив глаза, уродливо перегнувшись, он прошептал:

– *La donna e mobile...*²⁷

Верочка фыркнула, а Шацкий, уже уходя, кивал головой с видом покровителя и говорил:

– Да, да... Прощай, голубушка, прощай, Артур... будьте счастливы...

Верочка захлопнула дверь, с улыбкой посмотрела на Карташева и остановилась, точно ожидая чего-то.

– Верочка, а где хозяйка? – спросил смущенно Карташев.

Верочка даже присела от смеха.

– Да нету же... – ответила она.

– Верочка, какая вы хорошенькая...

Карташев обнял и поцеловал ее... Верочка прижалась к нему и, побледнев, смело смотрела прямо в его глаза. Ноздри ее слегка раздувались.

– Но ведь вы невеста?

– Чья невеста! Все она врет...

И Верочка теперь уже сама быстро и еще сильнее прижалась, поцеловала в губы Карташева и так же быстро исчезла.

²⁷ Сердце красавицы склонно к измене... (итал.)

Карташев растерянно вошел в свою комнату.

XVIII

Всю неделю Карташев писал, ухаживал за Верочкой и мучился сознанием, что нарушил свое обещание хозяйке, мучился тем более, что и не любил Верочку настолько, чтобы чувствовать какое-нибудь оправдание своим заигрываниям с ней.

А Верочка шла навстречу всяким ласкам и раздражалась, что Карташев только целует ее.

– Как будто вы весь порох уже расстреляли, как старики целуете, – говорила раздраженно Верочка.

– Верочка, вы говорите, сами не понимая, что: гадость очень недолго сделать.

– Га-а-дось?! Убирайтесь вы...

– Верочка, вы хорошо понимаете, что говорите?

– Да что мне здесь понимать?

– Как что?

Она внимательно смотрела в глаза смущенному Карташеву и говорила:

– Так, дурачок вы какой-то... Идите вот под церковь копеечки собирать.

– Верочка!

– Да ну... право же... Вот постойте, я вам игрушку куплю, вам и ее довольно будет...

И на другой день Верочка купила ему пятикопеечную голенькую фарфоровую куколку.

Она с злой улыбкой, мимоходом, сунула ему, когда он лежал еще в кровати, эту куколку за пазуху рубахи и в то же время изо всей силы ущипнула его за бок.

Карташев скривился от боли и, схватив Верочку, посадил ее возле себя.

– Ну, и что ж? – насмешливо вызывающе спросила Верочка, в то же время побледнев и смотря в его глаза.

– Верочка, вы глупенькая, – прошептал, целуя ее, Карташев.

– Целуйте куколку, – вырвалась энергично Верочка и, хлопнув дверью, вышла из комнаты.

Карташев остался в кровати и напряженно, смущенно, в сотый раз обдумывал свои отношения к Верочке. И в сотый раз он чувствовал, что ему хотелось только целовать ее, как красивого ребенка, а не как женщину, страсть которой была ему даже неприятна: когда она бледнела, прижималась и жадно смотрела на него, все увлечение Карташева сразу улетучивалось.

После возбуждения в писании на Карташева напало сомнение.

Однажды он лежал, и вдруг, как молния, сверкнуло в его голове: да писатель ли он?

Карташев вскочил и испуганно подошел к своему столу. Неужели только обман один и все это возбуждение и страсть писания? Но он видел в образах тех, кого писал, – они были живые, полные жизни были эти образы. Но живыми они были, может быть, только там, в его воображении, а на бумагу могли попасть только неудачные снимки?

Карташев тревожно присел и начал перечитывать свою рукопись. Худо, хорошо... хорошо, худо... Карташев все напряженнее перечитывая написанное... Поправить здесь надо, непременно надо... Карташев принялся исправлять торопливо, нервно.

Кончив, он начал опять сначала перечитывать свою рукопись.

Но теперь все подряд уже казалось ему какой-то невозможной мазней.

«Да ведь это же суздальская работа!» – пронеслась вдруг отчаянная, унижительная мысль в его голове, и Карташев изо всей силы толкнул свою рукопись. Она полетела со стола на пол и рассыпалась.

Карташеву сдавило что-то горло.

Он быстро оделся и выскочил из дому. Он бросился в парк.

Те же деревья, те же дорожки...

Ах, нет, не те. Теперь это уже не друзья, теперь они только свидетели его пережитой славы. На душе Карташева стало вдруг так пусто, что он испугался.

«Ну, что ж? Ну, не писатель. Не все же писатели... живут же... Не надо даже и думать об этом... Вот надо остричься...»

И Карташев быстро зашагал из парка в, выйдя на проспект, стал, ни о чем не думая, озабоченно искать парикмахерскую.

Тот же проспект, те же домики... Еще вчера он шел по этой улице, и жизнь была так полна, все так улыбалось, все так ярко, гармонично отдавалось в душе... а сегодня... он такая же жалкая бездарность, как и вся эта ничтожная толпа, обреченная на прозябание, обреченная только чувствовать и всегда молчать. Он хуже всякого из этих прохожих, потому что они и не мечтали, а он мечтал, пробовал и теперь знает, что он бездарность.

Убегая от себя, Карташев был рад, когда нашел парикмахерскую и когда его усадили перед зеркалом.

Жгучий порыв боли прошел. Он сидел грустный, задумчивый, окутанный простыней и всматривался в зеркало; его красивые волосы падали ему на лоб, и он думал: «Когда я бездарность, что во всем этом?» И опять жгучая тоска охватывала его.

Он опять был на улице. В догорающем морозном дне точно чувствовался какой-то намек на далекую весну. И в небе была весна: синее, нежное, ласкающее, оно проникало, охватывало знакомым ощущением. Но что толку в том, что он, Карташев, чувствует это небо? Будь небо во сто раз синее, загорись оно всеми переливами своих красок, умри он, Карташев, от восторга, хоть растворишься в этом небе: что толку, если он не писатель, если он не может передать своих ощущений, не может заставить других переживать то, что переживает сам?! И жгучее, горькое чувство с новой силой хватало за сердце Карташева; слезы подступали к глазам, и, как ни удерживался он, они капали по щекам, а он быстрее убегал, стараясь в сумерках улицы незаметно вытереть свои слезы, тоскливо-испуганно твердя:

– Как это глупо, глупо, глупо...

Серо и скучно потянулись тяжелые дни томления для Карташева. Рукопись в беспорядочной груде лежала на столе, лекции валялись в углу, и все это мучило, тревожило и отравляло все существование Карташева. Он брал книгу и не мог читать: то другие писали, люди таланта, а он – бездарность.

Ах, чего бы он ни дал, чтобы быть теперь у себя в деревне, заниматься хозяйством и забыть там самого себя, чтобы незаметно как-нибудь добраться до того мгновения, когда наконец и его очередь придет сойти с этой непонятной для него сцены жизни. Но и в деревне только ведь кулакам и житье...

Проснувшись как-то, Карташев заставил себя идти на лекции.

Он уныло, с тоской в душе, опять подходил к знакомому зданию. Это длинное здание казалось теперь ему таким же мертвым, как и он сам.

В маленькой аудитории собралось человек пятнадцать студентов; вошел профессор и начал что-то читать. Кончик его тонкого носа тихонько шевелился, шевелились губы, слова, как горошек, сыпались изо рта, издавая какой-то звук при своем падении. Маленькие слоновьи глаза иногда поднимались и смотрели в сонные лица студентов, и тогда контраст черных глаз и бледного лица профессора был еще резче.

После лекции Карташева всего разломило, и с туманной головой и горячими руками он ходил по высокому темному коридору.

Какой-то гул, чем-то пахнет: это запах какого-то старого тела, сотню лет обитающего здесь. Это и не тело и не запах: экстракт запаха, экстракт какого-то скучного, безнадежного старья.

Следующая лекция государственного права читалась в конференц-зале, где много было воздуха, было светло и хорошо сиделось на соломенных стульях. Пришло человек пятьдесят. С некоторыми профессор радушно поздоровался. Кружок столпился около него и слушал: государственное и международное право предполагается сделать необязательным предметом. Какой-то мимический разговор, непонятный Карташеву, а профессор уже подходит к столу и говорит:

– Я по этому вопросу дома сегодня укажу вам...

Какие-то счастливицы бывают, значит, у него на дому.

Идет лекция. Оживленно, звонко, красиво говорит профессор, говорит о Петре Великом, ничего, по-видимому, интересного не сообщает, но отчего с таким интересом некоторые его слушают, переглядываются между собой и улыбаются?

Профессор кончил: веселые аплодисменты, довольные лица. А вот такие же, как и Карташев. Они идут унылые, с пустыми глазами, с пустыми душами, с измятым лицом, идут равнодушные, скучные, неудовлетворенные.

Два каких-то студента говорят, и Карташев старается прислушаться. Говорят о лекции и отыскивают какой-то особый смысл в словах профессора. Каким образом выудили этот смысл эти два студента? Он, Карташев, ничего не выудил и ничего не понял. Но хорошо, что они могут догадаться, а если он не может? Из пятисот человек их десятая часть здесь, и из них он уже не понял, а может быть, и другие такие есть, которые тоже не поняли тонких намеков. Может быть, только эти двое и поняли. Профессор не виноват, конечно, но что это за наука, душа которой, самое интересное в ней – только какой-то непонятный намек, доступный двум-трем аристократам мысли. А остальные? Остальные уйдут в свое время спокойные с аттестатом в кармане. Чего же еще? поступят на службу, и к чему тогда все это? В золотом ринсе-пез и другой в длинном черном рединготе идут с гримасой презрения. Для них, конечно, что все это? Что им Гекуба и что они Гекубе? Им отцы их достанут места и дадут деньги. Они садятся в свой экипаж.

Карташев с завистью смотрел им вслед: их не грызет червь сомнения. Их душа не раздвигается. Ах, зачем его не отправили в детстве в пажеский корпус? Зачем познал он намек на какую-то иную жизнь? Без этого и он был бы теперь удовлетворен, и никуда бы его не тянуло. А теперь тянет и в одну сторону, тянет и в другую, – нет средств для одной жизни, нет подготовки к другой.

И та и другая одинаково не удовлетворяют.

Кружок бедно одетых студентов оживленно весел; прощаются на подъезде и кричат один другому:

– Заходи же за мной.

– Хорошо... он сказал – в семь?

– Ты пораньше приходи, чаю напьемся.

– Андреев, а ты будешь?

Андреев, высокий, худой, страшный, костлявый, с землистым цветом лица, говорит:

– Нет, я сегодня на Выборгской.

– Скажи Иванову, что я рукопись передал.

– Хорошо...

«Иванов, – думал, идя домой, Карташев, – Иванов? Его знают и в университете. Что же такое Иванов?»

«Надо прочесть Жан-Шака Руссо», – тоскливо думает Карташев, вспомнив вдруг разговор в коридоре университета о чем-то по поводу Руссо.

«Необходимо надо прочесть», – страстно загорелось в нем, и он прямо пошел в библиотеку, в которой абонировался.

– Что у вас есть из Жан-Жака Руссо?

– Вот список дозволенных книг.

Карташев посмотрел.

– Здесь нет.

– Я думаю, и в других библиотеках вы не найдете.

Карташев внимательно просматривал каталог «серьезных книг» и взял Шлоссера.

Он шел и думал:

«Прочесть разве весь каталог по порядку, тогда уж все будет в голове из дозволенного хоть».

А не пойти ли ему прямо к Иванову и сказать: «Я хочу быть развитым человеком, укажи мне, что читать, какие книги, где их доставать?»

Карташев пришел домой, пообедал и, войдя к себе в комнату, задумался, что ему делать теперь?

«Пойду я к Корневу, захвачу с собой и свое маранье... А вдруг он скажет, что я писатель?»

Карташев собрал свою рукопись и поехал на Выборгскую.

XIX

Группа Корнева держала в этот день по анатомии частичный экзамен у профессора, умевшего заставлять работать студентов не только за страх, но и за совесть. Несмотря на сухую зубрежку непонятных названий, студенты наперерыв друг перед другом посещали анатомический театр и с бою, назубок, вызубривали трудные названия.

С этими названиями старик профессор умел искусно связывать будущую роль своих слушателей, обращался к студентам, как к докторам: нельзя быть анатомом без знания даже самой скромной аномалии, – жизнь пациента зависит от этого, и без этого знания это будет не хирург, а шарлатан.

Старый профессор был на страже, чтобы не допустить такого шарлатана к делу, к которому почему-либо человек не годился. Это хорошо знали студенты. Просьбы не помогали, но все было приспособлено к тому, чтобы человек узнал свое дело, и главное из этого всего было налицо: сумбура и намеков не могло существовать в деле, где все было ясно и точно, как часы, как сам угрюмый профессор, представитель западного ученого, образ которого будет всегда связан с медико-хирургической академией, профессор, которого как огня боялись студенты и боготворили в то же время, как только можно боготворить человека, несущего нам чистую истину. И когда профессор, мировой авторитет, сурово говорил студенту, осторожно запускавшему свои руки во внутренности трупа: «Господин, снимите ваши перчатки», – студент готов был не только свои руки, но и самого себя погрузить в кишки смердящего трупа.

И, боже сохрани, какая-нибудь брезгливая гримаса или даже брезгливая мысль: угадает, обидится и срежет. Срежет не карьерист, не чиновник, не бездарность: срежет европейская знаменитость, старый профессор.

Корнев получил «*maximum sufficit*»²⁸ и был на седьмом небе.

Он отправился с экзамена в кухмистерскую, а из кухмистерской с Ивановым за какой-то брошюрой к нему.

Иванов по дороге обстоятельно расспрашивал о Горенко и Моисеенко.

– Могу даже последнюю новость вам сообщить, – говорил Корнев, – они жених и невеста, весной сюда приедут, повенчавшись.

– Я знаю... брак фиктивный, чтобы переменить законно опекуна и избавиться от нежелательных лиц.

– Вот как! – изумился Корнев и сосредоточенно принялся за ногти.

– Отучитесь вы от этой дурной привычки, – сказал Иванов, – а то ведь при анатомии это рискованно: трупы, легко заразиться.

– Да, конечно, – озабоченно согласился Корнев, вытер ноготь и опять начал его грызть.

Корнев искоса незаметно всматривался в Иванова; этот маленький, тщедушный человек с копной волос на голове, с какими-то особенными, немного косыми глазами, которыми он умеет так смотреть и проникать в душу, так покорять себе, – страшная сила. Кто мог думать, кто угадал бы это там, в гимназии, когда два лентяя, Иванов и Карташев, так любовно сидели сзади всех рядом друг с другом? Теперь даже и неловко говорить с ним о Карташеве.

– Моисеенко, когда я знал его, – произнес нерешительно Корнев, – не совсем разделял взгляды вашего кружка...

– Он и теперь их не разделяет.

– В таком случае я не понимаю его.

Иванов заглянул в глаза Корневу и ответил тихо:

²⁸ высшую оценку (*лат.*).

– Что ж тут непонятного? важна точка приложения данного момента... у каждого поколения она одна... ведь и вы ее не отрицаете?

– Да... но принципиальная цель...

Корнев замолчал. Иванов ждал продолжения.

– Я все-таки сомневаюсь, – смутившись, как бы извиняясь, неестественно вдруг кончил Корнев.

– Только одно сомнение, и ничего, никаких других чувств нет?

– То есть как? Я думаю, одно только сомнение...

Корнев еще более смутился.

– Я так думаю, по крайней мере... но может быть...

Он вдруг побледнел, лицо его перекошилось, и он через силу проговорил:

– Что ж? может быть, и страх – вы думаете?

Иванов молчал.

Корнев поднял плечи, развел руками и смущенно, стараясь смотреть твердо, смотрел на Иванова.

– Во всяком случае, я всегда...

– Такого случая при данных обстоятельствах, – грустно перебил Иванов, – и быть не может.

Какая-то пренебрежительная, едва уловимая нота чувствовалась в голосе Иванова во все время визита Корнева...

Корнев, с брошюрками в кармане, выйдя на улицу, вздохнул облегченно и побрел к себе. Теперь, перед самим собой же, он спрашивал себя: что удерживает его действительно? Он смущенно покосился на шмыгнувшую в подворотню собаку и огорченно, без ответа, пошел дальше. И «*maximum sufficit*», и все удовлетворение слетело с его души так, точно вдруг потушили все огни в ярко освещенной зале.

– О-хо-хо-хо, – громко, потягиваясь тоскливо, пустил Корнев, когда вошел, раздевшись в передней, в свою комнату.

Он чувствовал хоть то облегчение, что он теперь один у себя в комнате и никто его не видит.

Он лег на кровать.

Вошла Аннушка в новой кофте, для покупки которой ходила в Апраксин. Модные отвороты кофты безобразно торчали, Аннушка выглядывала из своей узкой кофты, как притиснутый удав. Она, громадная, с усилием перегибала шею и осматривала себя, поворачиваясь перед Корневым.

Корнев сосредоточенно грыз ногти, не замечая Аннушки.

Аннушка, идя с Апраксина, была очень довольна покупкой, но теперь на нее напали вдруг сомнения.

– То-то надо бы и другие еще примерить, – озабоченно говорила она, – а я так, какую дали.

В передней раздался звонок. Аннушка бросилась отворять. Вошел Карташев.

– А-а! – точно проснувшись, приветствовал, вставая, Корнев.

– Спал?

– Нет... – нехотя ответил Корнев. – Что новенького?

– Целый скандал, Васька, – я писателем стал.

– Вот как...

– То есть какой там к черту писатель... Писал, писал, потом под стол бросил... А потом решил тебе все-таки прочесть.

– Интересно.

– Плохо.

- Посмотрим... Ну, что ж, читай.
- Так сразу?
- Чего же?

Карташев с волнением развернул сверток, сел и начал читать.

Корнев слушал, думал о своей встрече с Ивановым и иногда вскользь, рассеянно говорил:

– Это недурно.

Карташев кончил.

– Ну?

Корнев неохотно оторвался от своих мыслей, посмотрел, развел руками и сказал:

– Мой друг... Несомненно живо... Я, собственно, видишь ты...

Он опять остановился.

– Видишь... – опять лениво начал Корнев. – Писатель... Ведь это страшно подумать, чем должен быть писатель... если он не хочет быть, конечно, только бумагомарателем. Как мне представляется писатель-беллетрист. Ты беллетрист, конечно... Это человек, который, так сказать, разобрался уже в сумбуре жизни... осмыслил себе все и стал выше толпы... Этой толпе он осмысливает ее собственные действия в художественных образах... Он говорит: вот вы кто и вот почему... Твой же герой, – ты сам, конечно, – среди общей грязи умудряется остаться чистеньким... Но других пересолил, себя обелил, – надул сам себя, но кого другого надул? И если ты можешь остаться чистеньким, то о чем же речь, – все прекрасно, значит, в этом лучшем из миров. Если бы ты имел мужество вскрыть действительно свое нутро, смог бы осмыслить его себе и другим... Скажи, Тёмка, что ты или я можем осмыслить другим? Мы, стучающиеся сами лбами в какой-то темноте друг о друга! Мы, люди несистематичного образования, мы в сущности нищие, подбирающие какие-то случайно, нечаянно попадающиеся нам под ноги крохи; мы, наконец, даже без опыта жизни, когда притом девяносто девять из ста, что и этот опыт окончательно пройдет бесцельно вследствие отсутствия какого бы то ни было философского обоснования...

По мере того как Корнев говорил, он краснел, жилы на его шее надувались, он смотрел своими маленькими зелеными глазами, впивался ими все злее в лицо Карташева и вдруг, сразу успокоившись, вспомнив вдруг Иванова, пренебрежительно, почти весело махнул рукой:

– Нет, мой друг! Какие мы писатели... И ко всему этому, какой талант нужен, чтобы все это было и не узко, и без всякой скучной морали, законно, было бы и вкусно, и понятно, и, наконец, настолько правдиво, чтобы с твоими выводами не мог не согласиться читатель.

– Какой читатель? Иванов может не согласиться, потому что ему тенденция нужна.

– Да какая там к черту тенденция: образование нужно... Есть писатели, на которых все мирятся... И рядом ты... У них, черт их знает, какой размах, и всякая тенденция занимает только свое место... а ты пошлялся с Шацким...

Корнев, заметив угнетенное лицо Карташева, оборвался.

– Я не хотел бы тебя огорчать... У тебя даже есть, если хочешь, несомненная способность передавать свое впечатление, но именно... надо, чтобы и было что передавать. Понимаешь!.. Положим, что у тебя мозоль болит... Не станешь же ты об этом говорить, хотя бы, может быть, нашелся целый кружок людей, у которых тоже оказались бы такие же мозольные интересы... Самое большее в таком случае: ну, и будешь мозольных дел мастер.

Карташев лег на кровать, закинул руки за голову и, сдвинув брови, молча слушал.

– Это, конечно, верно... – нехотя заговорил он, когда Корнев замолчал. – Какой я к черту там писатель.

– То есть ты, конечно, можешь быть писателем, тянет же тебя... но, как какой-нибудь самоучка с задатками, музыкант, может сделаться артистом только тогда, когда разовьет свой талант... А без этого он будет просто бандуристом.

– Хотя Баян был тоже только бандурист... Гомер не знал современной науки, а останется Гомером навсегда.

– Но Гомер понимал и осмыслил всю свою жизнь... А в нашей обстановке один талант Гомера без знания и понимания современной жизни и ее задач что бы сделал? какой-нибудь крестьянин... что он поймет?

– И все в конце концов сводится, – уныло сказал Карташев, – что если не писать в духе какого-нибудь Иванова, то и нет больше нигде света.

Корнев пренебрежительно махнул рукой, прошелся и сказал:

– Обо всем этом говорить можно разве с точки зрения несоизмеримости того, что требуется от настоящего писателя и что мы с тобой можем дать...

Наступило молчание.

– Но скажи, пожалуйста, ты себя считаешь образованным человеком?

– Я? – с искренним ужасом остановился Корнев. – Никогда, конечно... Такой же запутанный, как и все мы.

– Вася, но как же распутаться? Как же добраться до истины?

Корнев пожал плечами.

– Есть небольшие кружки... но истина ли это или результат недостаточности истинного знания, откуда я знаю?

– Но, собственно, что требуется для того, чтобы быть образованным человеком? Что читать? Какие вопросы интересуют теперь образованных людей?

– Видишь ты... Я, конечно, в общем... Во времена Белинского решались разные принципиальные вопросы... Ну, помнишь там... ну, вот вопросы эстетики: искусство для искусства. Но жизнь подвинулась, – собственно, и тогда за этой принципиальной стороной, как всегда, скрывалась также практика вещей, но теперь жизнь подвинулась, и эта практика, ну, осязаемое, что ли, стала, ближе подошли мы к ней... Теперь идет решение разных политических, экономических вопросов... На Западе теории там известные... У нас своя собственная точка зрения устанавливается: автор «Критики философских предубеждений против общинного землевладения», автор статей «Что такое прогресс?».

– А кружок Иванова к каким относится?

– Это уже другая разновидность. Они, видишь, взяли свою собственную точку приложения. Они не желают у нас повторения, например, берлинских событий тысяча восемьсот сорок восьмого года, потому что это будет на руку только буржуазии.

– Почему?

Корнев почесал затылок.

– Ты знаешь, какая разница между либералом и социалистом?

Карташев напряженно порылся в голове.

– Собственно... – начал было он и быстро, смущенно кончил: – Нет, не знаю.

Корнев объяснил. Затем разговор перешел на задачи ивановского кружка, и Карташев опять возбужденно слушал.

– Если они отрицают Запад, значит, они те же славянофилы? – спросил он.

– В сущности, видишь ты... есть разница... Они считают, что у нас есть такие формы общежития, к которым именно и стремится Запад. И вот с этой точки зрения и говорят они: к чему же излишние страдания и ломка, когда ячейка мировой формулы уже имеется у нас?

– Это община?

– Да.

– Из-за чего же они борются? Это ведь есть уже.

– Видишь ты... Что-то в жизни ломает эту общину: надо такую организацию, чтобы не сломало ее.

Корнев, как знал, объяснял и смущенно кончил:

- Я, собственно, впрочем, не ручаюсь за верность передачи.
- То есть решительно ничего не понимаю, – сказал Карташев.
- Корнев смущенно развел руками.
- Чем богаты, тем и рады.
- Карташев вздохнул.
- Так и буду всю жизнь каким-то болваном ходить.
- Проживешь... будешь служить, судить... защищать...
- Этим только и жить, Васька?
- Корнев пожал плечами:
- Живут...
- Значит, не в этом сила?
- Черт его знает, в чем сила.

Карташев ехал от Корнева, подпрыгивая на своем ваньке, и уныло смотрел по сторонам. Он вздыхал и думал: «Но если есть действительно непреложные законы жизни, то как же жить, не имея о них никакого представления? Или, может быть, не ему и заниматься придется всем этим? Кто-то там где-то и будет ведать. Но ведь и он будущий этот кто-то... он же юрист». Карташев тяжело вздохнул. «Да, лучше было бы взять себе какую-нибудь специальность. А может быть, и так проживу... живут же люди... Вон идет, и вон, и вон... По мордам видно, что ничего им не снится... Ну, газеты каждый день буду читать... Каждый день в газете какой-нибудь новый вопрос. Два-три года каждый день читать газету, и не заметишь сам, как по всем вопросам будешь все знать... Черт с ним, брошу глупый абонемент, что мне в самом деле скажет какой-нибудь Шлоссер... Подпишусь на газету и буду каждый день читать. И буду заниматься: пора, а то срежусь (сердце Карташева екнуло)... прямо буду зубрить, как Корнев анатомию, и отлично... это вот верно... по крайней мере, теперь чувствую, что стою на действительной почве. Ну, не писатель; экое горе... а все-таки на второй курс перейду, курить бросил, на втором курсе, а там каникулы, домой». Карташев вспомнил о Верочке. «И она пусть убирается к черту... Точно в самом деле так клином и сошелся свет... Проживем!»

Карташев на радостях, что нашел наконец выход, прибавил даже лишний гривенник извозчику.

На этот раз Карташев засел за лекции так, как, казалось, давно и следовало. Он читал, составлял конспекты, зубрил на память и медленно, но упорно подвигался вперед. Это не было, может быть, истинное понимание, истинное знание, может быть, это даже не был просвет, а был все тот же в сущности мрак, но у Карташева в этом мраке вырабатывалось искусство слепого: он ошупью уже знал, как и где от такого-то пункта искать следующего. Он знал, что каждая философская система, которую он брал теперь одну за другой приступом, будет несостоятельна, и его интересовало: в чем именно несостоятельна? Он старался угадать, но каждая из систем казалась неуязвимой. А когда он заглядывал дальше и узнавал ее слабую сторону, он удивлялся, как сам не мог додуматься до такой простой вещи. Разрушение некоторых систем вызвало в нем самое искреннее огорчение. Симпатична была школа стоиков по ясности изложения, эпикурейцы прельщали содержанием, но уж как-то слишком откровенно все у них выходило; киренаики были тоже в сущности эпикурейцы, но скромнее.

«Вот этой философии я буду последователем, – с удовольствием думал Карташев, – приеду домой: Долба, Вербицкий, Семенов... кто ты? Я киренаик...»

Когда Карташев дошел до Декарта, он думал: «Отчего бы мне самому свою собственную философскую систему не выдумать? ну, хоть маленькую... Ну, вот, допустим, что я тоже философ и решил создать свою собственную философию. С чего я начну?»

Он сосредоточенно смотрел перед собой, стараясь раскопать в своей голове скрытый клад. Но ничего там не находил.

«Мой друг, ты ищешь ночью там, где я днем ничего не нахожу», – вспомнил он слова из какого-то анекдота.

«Неужели я такой идиот, что не могу создать даже плохенькую философию?.. Ну, всякий философ начинает с принципа и им уже охватывает весь мир, все существо вещей, отыскивает точку приложения данного момента... ну, вот, Декарт говорит: «Cogito, ergo sum»²⁹, – и поехал... Но вот и я тоже: «Cogito»...»

Карташев пригнулся, смотрел на носок своего сапога и уныло шептал:

– Cogito, cogito, а ни черта не выходит.

²⁹ Я мыслю, следовательно, существую (*лат.*).

XX

Мечты Ларио об уроке неожиданно сбылись: по вывешенному в институте объявлению он получил урок.

Ларио веселый пришел к Шацкому.

– Знаешь, – смущенно разводил он руками, – довольно глупое положение: я – гувернер!.. Что из всего этого выйдет, я решительно не знаю. Двадцать пять рублей на всем готовом... Прогулки с сыном... славный мальчик, лет десяти...

– Прогулки эти превратятся, конечно, в свидания с Лизками, Машками...

– Положим, это ерунда, но, понимаешь, мамаша...

– А мамаша какая из себя?

– Не в том дело. Понимаешь, насчет религии пристаает... Молитвы с ним по вечерам читать... А здесь я совсем пас, Миша.

– Сколько лет мамаше?

– Да глупости... Ну, лет тридцать.

– Муж есть?

– Есть... Интендант, что ли; о честности мне лекцию прочел. То есть черт знает что такое...

Ларио пустил свое «го-го-го» и еще смущеннее посмотрел на Шацкого.

– Понимаешь, она считает, что в современном обществе недостаточно уважают... черта. Ей-богу! Еще, говорит, одну сторону религии признают, а другую – вот этого самого черта – совсем знать не хотят... отсюда и все зло, потому что, понимаешь, черту только это и надо; ты думаешь, что говоришь с ученым, а это черт... то есть не сам ученый – черт, а черт в него забрался именно потому, что он и не верит в этого черта: кто не верит, к тому он и лезет.

– Что ж она – сумасшедшая?

– Нет... – в гимназии была. «Я, говорит, не могла бы жить, если бы не имела положительных идеалов... жизнь, книги, наука не дают их...» Все они путаются...

– Они или она?

– И не глупая так, а как до черта дойдет, сама хуже черта: глаза загорятся... «Я, говорит, и сыну говорю: никому не верь! мне не верь... иди к батюшке, и если он скажет, ну, тогда ему одному и верь». Понимаешь?

– Понимаю, что тебя вон выгонят.

– Ну, это ты врешь.

– И что ж, молитвы с ним будешь читать?

– Го-го-го... нет, сказал, что я католик...

– То есть черт знает что такое: гувернер, католик.

Через неделю Ларио опять пришел к Шацкому. Шацкий сидел за лекциями.

– Жив еще? – встретил его Шацкий.

– Целую неделю, Миша, как видишь, высидел, ну, а сегодня уж не вмоготу: говорю, так и так, тетку надо проведать. «Где живет?» На углу, говорю, Гороховой и Фонтанки. Понимаешь? Не соврал...

– К Марцышке?

– Требуют... Все пять в складчину бенефис мне дают... Да! Знаешь, Катя Тюремщица – готова... Три дня тому назад...

– Откуда ты узнал?

– Шурка сказала.

– Значит, сношения есть все-таки с Машками и Шурками?

– Есть, конечно, Миша. Почты для всех устроены... Конвертик этакий, почерк приличный: все как следует. Rendezvous³⁰ напротив... Полпивная, вполне приличная. Особая комната, все как следует... Раз с Шуркой сидим: слышу, кухаркин голос...

Ларио произнес «кухаркин голос» с той интонацией, с какой говорил «шшиик» и вообще все то, что хотел подчеркнуть.

– Ругает, то есть на чем свет стоит, своих господ, и главным образом не так барыню, как барина.

– За что?

– Подбивается к нянюшке...

Ларио бросил шутовской тон и заговорил серьезно, с своей обычной манерой, скороговоркой:

– Понимаешь, действительно подлец... с виду этакий солидный, брюшко, тут на подбородке пробрито, лет этак пятьдесят уж будет, и вдруг за нянькой, а та совсем еще девочка... ну, лет пятнадцати... И прелесть что за девочка... Боится его, а он пользуется...

Разговор оборвался. Ларио прошелся по комнате.

– Ну, а ты, Миша, как?

Шацкий утомленно закрыл глаза.

– Ты все худеешь.

– Я плох...

Он сделал гримасу и провел рукой по лицу.

– Здешней воды не переносу... Денег нет... и высылать не хотят... Мне, кажется, остается одно: пустить себе пулю в лоб.

– Что ж, пускай, Миша... мы тебя хоронить будем, а ты только этак головкой станешь поматывать... знаешь, как анафема...

– Дурак... Какая анафема?..

– Старушка одна такая была. Ну, жила себе где-то, не видала никогда анафему... Ну, и пошла искать. «Видала анафему?» – спрашивают ее. «Видала, батюшка, видала...» Выскочил к ней какой-то волосатый да кричит: «Анафема!», а она сидит да только головкой поматывает, а он опять: «Анафема!..»

Шацкий не слушал.

– Нет, Миша, ты что-то того... действительно плох...

Шацкий встал, оттопырил пренебрежительно нижнюю губу и продекламировал тихо, закатив глаза:

– Волк, у которого выпали зубы, бешено взвыл...

– Миша, не грусти: зубки есть еще у тебя.

Шацкий лениво потянулся.

– Ну, что ж ты? Деньги есть? – спросил он.

Ларио смутился.

– Трешница, Миша, есть... Понимаешь, я того... я как только получу, тебе сейчас же... того...

Шацкий сделал вид, что хочет зевнуть, но не зевнул и, опять падая на диван, лениво произнес:

– Успокойся.

– Понимаешь... хоть и бенефис, а все-таки надо... понимаешь...

– Понимаю, – устало кивнул головой Шацкий.

– А впрочем, Миша, если ты уж так плох...

Шацкий не сразу ответил.

³⁰ Свидание (франц.).

– Не надо...

– Нет, ты послушай...

– Оставь... у меня опять живот болит.

Он побледнел, скривился от боли, а Ларио упорно смотрел на него:

– Ничего, Миша, пройдет: это весна.

Через несколько минут он уже прощался:

– Ну, Миша, мне того... пора. Ты что ж, писал домой?

Шацкий покосился в угол и небрежно ответил:

– Писал, что в госпитале уже...

– Ну?

– Ну, и вот...

– Пришлют, Миша.

– Конечно...

Проводив Ларио, Шацкий устало потянулся, взял лекции дифференциального исчисления и лег с ними на диван. Шел третий экзамен. В году он почти ничего не делал и теперь занимался. У него была какая-то своеобразная, совершенно особая манера знакомиться с предметом: он принимался за него с конца, потом перебрасывался куда-нибудь к середине, возвращался опять к концу, опять подвигался вперед, и так до тех пор, пока не прочитывал всего предмета. Тогда он начинал опять сначала, и если успевал кончить все чтение до экзамена, то шел и выдерживал его блистательно. Если же не успевал, то тоже шел и выдерживал, всегда обращая на себя на экзамене внимание всех: и студентов и профессоров. Он размахивал руками, шаркал ногами и точно нарочно дразнил самых злых или обидчивых профессоров. Очередные студенты волновались и тоскливо шептались между собой:

– Вот рассердит-таки... и что это за пошлая манера?

Но Шацкий умел брать какой-то такой тон, который не раздражал.

Профессора высшей алгебры, молодую звезду, очень, впрочем, немилостивую к плохо понимавшим студентам, он даже так смутил, что тот в конце концов должен был извиниться.

– У вас конечного вывода нет, – с гримасой, наводившей панический страх на студентов, подошел молодой черненький, во фраке, профессор к доске Шацкого.

Шацкий фыркнул.

– Лагранж и этого не требует... Он дает студентам свою книгу и только просит объяснить ему.

– Я признаю такой способ, – поспешно, покраснев, сказал профессор. – Я не настаиваю... Если вам угодно словесно...

И между профессором и Шацким начался словесный диспут почти по всему предмету.

– Достаточно... Извините, пожалуйста...

Профессор протянул Шацкому руку.

Шацкий положил мел и, стоя рядом с профессором, следил без церемонии за его рукой, ставившей три пятерки.

Он пренебрежительно фыркнул и пошел прочь из аудитории, не замечая или не желая замечать взглядов, почтительных и завистливых, своих сотоварищей.

Но экзаменационные победы доставляли ему только мимолетное удовлетворение: денег не было, здоровье расшатывалось.

– Да, да, – печально говорил сам себе Шацкий, – еще одна такая победа, и я останусь без войска...

В то время как у Шацкого экзамены начались с десятого марта, у Карташева они должны были начаться в мае. Карташев усердно занимался и думал об экзаменах с некоторой гордостью. Пройденное было все в голове и сидело прочно: он открывал наугад любую страницу, прочитывал начало и бойко рассказывал себе дальнейшее содержание.

В разгаре занятий в Карташеве проснулась опять жажда к писанию. На этот раз ему хотелось писать уже не веселое, а что-нибудь сильное, драматическое и жалостное без конца. Он остановился на теме: нуждающийся студент доходит до последней нищеты и лишает себя жизни, выбрасываясь из окна четвертого этажа.

Наступившая пасха помогла придумать рамки рассказа. Карташев ходил ночью под пасху к Исаакию и решил уморить своего героя как раз в эту ночь. Студент стоит у окна. Перед его глазами в темноте звездной ночи вырисовывается как бы окутанный флером, весь освещенный, точно качающийся в воздухе, Исаакий; студент смотрит и вспоминает все свое детство, радостную семейную обстановку былого времени в этот день и, окончив свои воспоминания, собравшись с духом, выбрасывается из окна. Описать последний момент стоило Карташеву большого труда: лично ему, сидевшему до некоторой степени в душе злополучного героя, не хотелось вылетать в окно; он ощущал во время писания ужас и полное нежелание лететь, – точно какая-то сила отталкивала его, и так живо, что для него было ясно, что он, Карташев, сам ни при каких обстоятельствах в окно бы не вылетел... да и никаким другим способом не выпроводил бы себя за пределы этого мира добровольно.

«А не добровольно?» – задавал себе вопрос Карташев, и, вдумываясь в последнюю минуту такого конца, он на мгновение чувствовал весь ужас ее, вздрагивал и с радостью думал, что, слава богу, в настоящий момент он еще жив, здоров и молод.

Две недели писалась повесть. Много слез за это время было пролито Карташевым, – так жаль было ему своего героя. Не только Карташев плакал: бедная девушка, серая с лица, некрасивая, рекомендация хозяйки для переписки, отдавая рукопись хозяйке, чтобы та уже вручила Карташеву, призналась:

– Мы с мамашей так плакали... Это вот место, где он свое детство под пасху вспоминает, так хорошо... И ведь по примете как раз и вышло: разбил он тарелку тогда с пасхой, а это уж непременно к худому... Очень хорошо...

Так как литература отвлекла Карташева от приготовления к экзаменам, то, чтобы покончить совсем со своим писанием, он решил, не медля после переписки, снести рукопись в какую-нибудь редакцию. В какую? Конечно, в лучшую.

Карташев вышел как-то утром из дому с свернутой рукописью.

«Ехать или идти?» Денег было мало, совсем мало, как у самого настоящего литератора, и Карташев подумал: «Конечно, идти, – прямо неприлично даже – ехать».

По мере приближения к редакции Карташев волновался все сильнее, и, когда наконец подошел к подъезду ярко-красного дома, руки его были холодны как лед, а ноги только что не подкашивались.

«А вдруг откажут? Вдруг крикнут: пошел вон! Ну, положим, так не крикнут, но все-таки все сразу поймут, что отказали. Не назад ли, чтобы не переживать опять душевной тоски? А переживешь...» – неприятным предчувствием вдруг засосало Карташева, когда, отворив дверь, он очутился в небольшой приемной редакции.

При его появлении из внутренних дверей вышел средних лет господин с брюшком, с одутловатыми щеками, с двумя колючими маленькими глазками и молча уставился на него.

– Я желал бы...

– Рукопись? – уныло перебил господин.

– Да, я желал бы...

– Позвольте.

И, получив рукопись, господин ушел, лениво размахивая ею и бросив резко, как команду, на ходу:

– Через две недели.

Карташев, машинально поклонившись его спине, выскочил в переднюю, оттуда на лестницу, выбежал на улицу и радостно подумал: «А все-таки принял! Может, и напечатают... Неужели напечатают?! Его, Карташева, произведение?!»

Мимо прошел какой-то молодой брюнет с длинными волосами, взглянул внимательно на Карташева и вошел в подъезд редакции.

«Наверно, писатель...»

Карташев оглянулся и посмотрел ему вслед.

– Ехать, что ли? – обратился к Карташеву извозчик.

«Нет, теперь совсем неловко, кто-нибудь из редакции в окно может увидеть, подумает, что денег много... возьмут и откажут... а так, может: бедный студентик... что уж его? Напечатаем... И вдруг гонорар, знакомятся... Надо будет за эти две недели прочитать, что писалось в их журнале, хотя за этот год... Жалко, как раз экзамены... А какой этот господин, который взял рукопись: брр... какой страшный... А может, только с виду, а на самом деле даже очень добрый... особенно, как прочтет... и тема такая подходящая: бедный студент умирает от нужды... и такой ужасной смертью».

Карташев подумал: «Сегодня уж не буду заниматься: пойду к Шацкому, – давно у него не был».

Карташев шел, думал, вспоминал и переживал снова свои ощущения при передаче рукописи. Ему вдруг сделалось грустно; как летит время, – быстро, неудержимо: был давно ли мальчиком, гимназистом, теперь писатель... вся жизнь так пройдет... Мелкие радости, мелкое горе... Если даже и примут: печатают же ведь и плохие вещи... А все-таки...

И опять веселые мысли полезли в его голову: приедет он домой уже на втором курсе, не курит, литератор... Ах, если бы бог дал, чтобы приняли...

Карташев проходил в это время мимо церкви и, подняв глаза на крест купола, подумал: «Святой Артемий, моли бога обо мне, грешном, чтобы приняли мою рукопись...»

Был ясный, но холодный апрельский день, и Карташев с удовольствием, чтоб согреться, прошел весь путь к Шацкому пешком. Не доходя квартала два до квартиры Шацкого, он неожиданно увидел своего приятеля на улице за очень оригинальным занятием. На углу Офицерской и Фонарного переулков стоял высокий Шацкий, расставив широко свои длинные ноги, и, держа в руках старые ботинки, что-то очень убежденно и деловито доказывал татарину.

Костюм Шацкого был не из обычных: вместо пальто на его плечи было небрежно накинуто его тигровое одеяло, сложенное вдвое. Некоторые из прохожих останавливались и с интересом следили за продавцом и покупателем.

Ни Шацкий, ни татарин не обращали на них никакого внимания. Татарин то брал в руки ботинки, осматривая их внимательно, то снова возвращал их Шацкому с пренебрежительным видом.

Карташев остановился на противоположном углу и незаметно следил за всем происходившим.

Продав ботинки и получив деньги, Шацкий облегченно вздохнул и повернул к своему дому.

Карташев подождал немного и нагнал приятеля уже на следующем квартале.

– Лорд...

Шацкий радостно и в то же время пылливо остановился перед Карташевым: видел ли он или нет? Карташев старался сделать самое невинное лицо, но что-то было, и оба приятеля залились вдруг веселым смехом. Затем, взявшись за руки, они пошли рядом, не обращая внимания на глядевших на них прохожих.

– Лорд, погода мне кажется особенно хорошей...

– Не правда ли, граф? Хотя, впрочем, холодно... ладожский лед идет.

Карташев сделал гримасу.

– Да, но плоды нашей Шотландии, лорд...
Карташев заглянул в смеющееся, румяное от холода лицо Шацкого.
Они прошли еще несколько шагов.
– Лорд, вы, конечно, гуляли?
– Как вам сказать? Да-а...
– Хорошая вещь это – прогулка, лорд. Но иногда под видом прогулки происходят ужасные вещи... Вы знаете нашу Шотландию, лорд: убить, например, человека, снять с него ботинки...

Шацкий смущенно хохотал.

– Это не убийство, граф Артур... вы ошиблись... это – нищета...

– А! В таком случае это ничего, лорд. Лучшие роды впадают в нищету, и можно старые ботинки продавать с таким достоинством, какому позавидуют короли...

Они подходили к дому. Шацкий перестал смеяться.

– Не говори только, пожалуйста, Ларио, что я продал его ботинки, а то убьет... я обещал заложить только, но нигде их не берут или дают двадцать копеек.

– Ларио не на уроке разве?

– Какой там урок? Уже прогнали... с городовым... Иди ко мне, я только куплю к чаю.

Шацкий пошел в лавочку, а Карташев поднялся к нему в квартиру.

В комнате у Шацкого на полу в одном нижнем грязном белье ползал Ларио, внимательно высматривая что-то под кроватью.

Увидав Карташева, Ларио смущенно поднялся, прищурился и поздоровался.

– Ты что это? – спросил, раздеваясь, Карташев.

– Понимаешь, курить хочется черт знает как...

– Окурков ищешь?

– Да уж нет ни одного.

– Плохо.

– Совсем плохо... Вот Миша пошел, может, ботинки мои заложит.

– Заложил... сейчас придет.

– Заложил! – встрепенулся озабоченно Ларио, – как бы не пропал теперь с деньгами?

– Сейчас придет.

– Вот, как видишь, всего меня заложил. И сам в одеяле ходит днем, а вечером в салопе горничной.

– А что ж твой урок?

Ларио только рукой махнул.

В коридоре раздался резкий крик Шацкого:

– Самовар?!

Шацкий вошел, бросил чай, сахар, колбасу и хлеб на стол, сбросил одеяло и выжидательно посмотрел на Ларио.

– Нет, Миша, прежде всего покурить.

Шацкий не спеша вынул пачку папирос и бросил их Ларио, процедив сквозь зубы:

– У-у, животное...

Ларио жадно закурил папиросу.

– А-а, – затягивался он с наслаждением, выпуская дым.

Шацкий, присев, отломил себе кусок хлеба и колбасы и принялся с аппетитом есть.

Ларио, накурившись, тоже начал есть, а за ним и Карташев.

Подали самовар.

Утолив голод, Шацкий вдруг побледнел и, на вопрос Карташева о причине, с капризной тоской в голосе ответил:

– Опять живот...

– Зачем же ты ешь колбасу?
Шацкий не удостоил ответом и, угрюмо сгорбившись, побрел к своей кровати.

– Что, Миша, аль издыхать взаправду собрался? – спросил Ларио, впавший было уже в свое молчаливое настроение после еды.

Шацкий лежал молча.

– Что ж, родные так-таки ничего и не посылают? – спросил Карташев.

Он подождал ответа и задал другой вопрос:

– Что же вы дальше будете делать?

– Понимаешь... – смущенно заговорил вдруг Ларио, – и урочишко, как на смех, сорвался... И ему плохо, и у меня ничего.

– У меня есть Георгиевский крест отца, альбом, заложите...
– Нет, – быстро поднялся Шацкий, – ты спроси этого подлеца, как его выгнали.
– Животик прошел, Миша? – спросил повеселевшим голосом Ларио.
– Животное, – ответил ему Шацкий и пересел к дивану.

Ларио любовно смотрел на него.

– Говори, что ты наделал...
Перебиваемый Шацким, Ларио смущенно, скороговоркой рассказал Карташеву запутанную историю своего изгнания.

– Понимаешь... паршивый капитанишка, то есть черт знает что с этой бедной нянюшкой сделал... А тут как раз я дрызнул...
– Нет, постой, как дрызнул?
Ларио пустил свое «го-го-го».

– Ну, понимаешь, уехали они в театр... ну, дети там спать легли, а Шурка... пришла, значит...
– В семейный дом?
Ларио покоробил вопрос Карташева.

– В этот самый семейный дом и в эту самую даже, можно сказать, спальню...
– Ну, ну, дальше, – перебил Шацкий.
– Что ж дальше? За пивом послали... угостили кухарку: женщина бегала, – она и рассказала нам все. Пошли к няньке: сидит в кухне и плачет. Верно? – спрашиваем. Верно. Шурка говорит: «Ну, так я ему, подлецу, все глаза выцарапаю». Ну, а я говорю: «Врешь, я ему выцарапаю, уж коли так». Ну, еще дрызнули... Выпроводил я Шурку, а то ведь действительно, думаю, скандал сделает...
– А сам убить хотел, – перебил Шацкий.
– И убил бы подлеца! – вспыхнул вдруг Ларио.

Карташев с недоверием и страхом смотрел на загоревшиеся глаза Ларио.

– Он и сейчас его убил бы, – проговорил Шацкий, – а что было неделю тому назад.
– Убил бы, убил, Миша...
– У, животное! Вот с этаким в одной комнате и живи. Ты и меня убьешь когда-нибудь?
– Тебя за что убивать, – равнодушно ответил Ларио.
– Ну, что ж дальше было? – перебил Карташев.
– Ну, вот, Шурка ушла, а я думаю: выпью еще пива, может, засну. Не тут-то было... пятнадцать бутылок выпил: не пьян, спать не хочу, а во мне вот все так и дрожит – убить его, подлеца, и конец... дух захватывает, и свет не мил, если не убью. Пошел на кухню, говорю: «А что, у вас кухонный нож каков?» – «Вам зачем?» – спрашивает кухарка. «Свинью зарезать». Взял нож, попробовал, говорю: «Годится...» Да этак на кухарку и посмотрел. Та так сразу и побелела: по-ня-ла! Нянюшка в слезы... «Не плачь», спать ее отправил к детям, взял нож и хожу себе перед лестницей, жду, когда приедут они из театра... Похожу, похожу, выпью пива и опять на часы...

Ларио перебил сам себя и своим обыкновенным добродушным голосом сказал:

– Черт его знает, совсем ошалел и убил бы, если б не случай!

– Хороший случай, – фыркнул пренебрежительно Шацкий.

– Какой случай?

– Думаю: дай я пойду и поцелую в лоб невинную честную, опороченную девушку... И пошел в детскую... Пошел в детскую, лежит она в кровати... Невинные младенцы кругом... Мой ученик... пять образков над его кроватью... Ну, подошел я к бедной девочке; вижу, – притворяется, что спит, а сама дрожит. Наклонился я, этаким братский поцелуй ей в лоб...

– Глава пятая: поцелуй разбойника, – вставил Шацкий.

– Врешь, Миша: чистый, святой поцелуй... Она плачет... сам плачу... жалко... Девочка совсем ведь еще... В это время кухарка и успела, подлая, сбегать к дворнику... Вышел я опять на свой пост, заглянул я в кухню: сидит. Я говорю ей: «Ты не бойся!» Она говорит: «Да мне что ж бояться, когда душенька моя ни в чем не повинна». – «Верно», – говорю. «Да вы бы, говорит, сударь, тоже бы оставили это дело». – «Ну, нет, говорю, за такие советы ответить можешь и ты, потому что я и пьян, может быть, и сам не знаю, что могу сделать». Замолчала, как в рот воды набрала, и не смотрит. Постоял я и ушел. Тут вот немножко уже не помню. Помню, какой-то разговор с ней на лестнице был. Вдруг звонок... смотрю: дверь внизу открывается... один городской, другой, пристав... а сзади капитанишка с женой. Пристав уговаривать меня начал, а я кричу ему: «Кто подойдет – убью!» Вдруг сзади, чувствую, схватило меня несколько человек, спереди городские подоспели, пристав на меня... отняли нож... барыня подскочила да за волосы меня, а сама визжит благим матом. Отцепили ее, а капитанишка, белый как стена, – знает, мерзавец, в чем дело, – урезонивает ее: брось, брось! Ну, тут я не выдержал и говорю: «Сударыня, вот вы все о чертях беспокоитесь, а не видите, что с чертом живете». Он как заерзает: «Ведите его в участок, ведите в участок». – «В участок я, говорю, пойду, а вы все-таки, господин, – подлец, с нянюшкой вашей подлость сделали». Мадам: «Ах!» А он кричит ей: «Да не верь же ты ему, видишь – сумасшедший».

– Ну?

– Ну, го-го-го. Я ему этаким дьяволом расхохотался в глаза. А тут меня тащить стали...

– На другой день, – перебил его Шацкий, – сплю я, стучат в дверь: полицейский. «Господина Ларио знаете?» – «Знаю!» – «Сидит за покушение на убийство в Василеостровской части». Поехали, сидит. «Можете удостоверить личность этого господина?» – «Могу». – «Можете взять на поруки?» – «Могу...» – «Извольте». И вот... как видишь... привез его. «Я, говорит, все-таки паршивого капитанишку убью». Что ж мне с ним делать? Раздевайся...

Ларио, прищурившись, смеялся.

– Теперь вот он смеется, а неделю тому назад... И главное – на вид бык, а нервы, как у бабы... Познакомился я и с капитаном и с женой – очень милые люди. Ездил вещи этого подлеца брать.

– А что ж жена, по-прежнему, осталась с мужем? – спросил Карташев.

– Конечно.

– И нянька там?

– И нянька. Капитан расхваливает и его, одно, говорит, несчастье: сумасшедший. Ну, и я, конечно: «Да, да, сумасшедший». Очень, очень приличное семейство. Отказались от обвинения: сам капитан уладил в полиции все дело. Ну, вот...

Шацкий отбросил руку по направлению Ларио.

Ларио в это время, пригнувшись, перебирался с дивана на кресло и оттуда на кровать. Добравшись до кровати, он свернулся в клубочек и сказал:

– Хорошо, Миша.

– Шурочку бы еще?

– Что ж, не мешало бы.

- Что наконец выйдет из этого господина? – спросил Шацкий.
- Дурак ты, Миша, – ответил равнодушно Ларио, – ничего не выйдет...
- И как же тебя опять рекомендовать?
- Посоветуй меня, Миша, к честным людям в ничего не бойся...
- К Марцынкевичу тебя только и рекомендовать.
- С удовольствием, Миша.

Ларио стал вертеться и рычать.

- То есть зверь, а не человек.
- Го-го-го!
- Нет, этот человек... и катар... и экзамены... все это убьет меня...
- Опять животик заболел, Миша? Не падай духом: все перемелется, мука будет...

Шацкий положил голову на руку и смотрел опять уныло и расстроено в пол.

- Зачем ты в самом деле отравляешь себя, – сказал Карташев, – ешь колбасу?..

– Что ж мне есть больше? – капризно, с детским раздражением спросил Шацкий, – и на колбасу нет денег.

- А твои экзамены как?
- Что ж экзамены? Я и сам не знаю, как их в этой обстановке выдерживаю.
- А ты, Ларио, не держишь совсем?
- Совсем... – Он поднялся с кровати и вдруг закипятился. – Странно даже задавать такие

вопросы: что ж я, в подштанниках, что ли, пойду их держать? Он же заложил все.

- Я виноват...

– Тебя никто не винит, но факт... лекций нет, одежды нет, жрать нечего... – Ларио опять лег, повернулся к стене и добавил: – И самое лучшее, если ничего нельзя переделать, нечего и сил тратить: спокойной ночи.

Немного погодя по ровному дыханию Ларио ясно было, что он действительно заснул.

В окно смотрели какие-то однообразные, серые, унылые, точно преждевременные сумерки.

- Пора домой, – тихо сказал Карташев, нарушая молчание.

Шацкий поднял голову.

– Ну что ж, едем, – устало ответил он, – если крест и альбом даешь... Завтра опять экзамен: на всю ночь засяду.

- Ну, однако, ты совсем так сорвешь себя.

Шацкий фыркнул.

- Не в этом счастье, мой друг... Пожалуй, салоп лучше надеть...

Он ушел в кухню и возвратился в салопе горничной.

Грусть его маленького больного лица еще сильнее подчеркивалась его комичной, высокой фигурой в женском пальто.

Карташеву хотелось сострить, но он не решился.

- Идем, – позвал Шацкий.

Они молча спустились на улицу.

Проходя мимо освещенного подъезда главной лестницы того дома, где жили Шацкий и Ларио, Шацкий остановился перед стоявшим у подъезда швейцаром.

- Ну что? – спросил он швейцара.

- Не говорил еще. Да уж не беспокойтесь, – что можно будет, сделаем, – ответил швейцар.

- Вы уж, пожалуйста...

- В чем дело? – спросил Карташев, когда они отошли.

– Дельце одно... Петьку, подлеца, пристраиваю. Одно семейство за границу собирается, – вот я и хочу Петьку с ними послать.

- Как же ты его пристроишь?

- А вот через швейцара... Очень милый человек... познакомился с ним и узнал...
- Как же это ты познакомился с ним?
- Мой друг, что ты допрос снимаешь? – быстро ответил Шацкий, – знаешь, и деньги есть. Этот Ларио... он меня окончательно убивает... А если бы еще знал, что я продаю его вещи... Ведь все наново покупать придется: какой это процент? И на него же идет...
- Отчего же ты продаешь?
- Да потому, что в кассе мало дают... Я и свои все вещи продал.
- Главное, и я ничего не имею... Может быть, впрочем, я буду скоро иметь...
- И Карташев рассказал о своем писании и о своей снесенной в редакцию рукописи.
- Все деньги тебе...
- Мерсі, – улыбнулся Шацкий.
- Ты не шути, Миша, а вдруг...
- Крест золотой?
- Да, с эмалью.
- Едем...
- Приятель наняли извозчика и поехали.
- Об деньгах и думать даже не стоит, – говорил на извозчике Карташев, – все ведь это такие глупости...
- Ну, нет, мой друг, именно без денег все глупости...
- Между приятелями завязалась беседа, что называется, по душе.
- Шацкий, что бывало с ним редко, был не только серьезен, но и определен. Ему хотелось высказаться, и он говорил с своей обычной быстротой и живостью. Только мгновениями, когда его схватывали колики, он кривился и замолкал.
- Васька Корнев считает меня, конечно, так чем-то... явлением понятным, но грустным... Мой друг... таких, как я, сто миллионов; таких, как Васька, ну... сто тысяч... Во всяком случае, *placé a moi*³¹, и если он себя считает вправе меня игнорировать, то он должен признать, по крайней мере, и за мной это право... Постой, постой... а следовательно, Васька сам по себе, а жизнь сама по себе... И эта жизнь в полном противоречии со всеми Васькиными теориями: знать их не хочет... А Ваське жить надо в этой же жизни... Как ему жить? По-своему? Он знает, что его к вечеру же упрячут... и хорошо еще, если только в сумасшедший дом, – там хоть говорить можно все и кормят, – а то ведь и хуже еще может быть... Спрятать свои идеалы и кое-как у этой же жизни свой кусок хлеба отбирать?... И со смертью в душе волочить свое раздвоенное существование... вся энергия подорвана... жизни нет... Следовательно, прежде чем ставить себя в безвыходное противоречие, надо обеспечить себе, по крайней мере, ну хоть свободу действий. Надо платить за все, и за право быть честным прежде всего... А то: «Что вам угодно?» – «Я желаю поступить на службу». – «Ваш образ мыслей?» – «Мой образ мыслей... мой голодный желудок...» Глупо и пошло...
- Ну, уж и пошло...
- И все это понятно... Собственно, у нас масса еще совсем не образованна, а отдельный кружок за облака ушел... ушел так далеко... ну, вот, за веревку тянут, – не там тянут, где привязана она, а там где-то за конец... Пожалуйста тянуть поближе, а не желаете, возьмем других людей, которые даже лучше, если не знают этих, а-а-а... Понимаешь?
- То есть, значит, образованных людей не надо?
- Если эти люди ушли так далеко от остальной массы, то что ж в них толку для данного момента? Они не работники, у них нет точки приложения... Ну, вот Вася... Может он что-нибудь делать из житейского? Нет... Сомневающийся Вася ничего не может... И все-таки

³¹ место за мной (*франц.*).

этот еще робкостью хоть своего характера возьмет. А возьми такого, который захотел бы быть последовательным, не лгать, не фальшивить.

– Так и надо, я думаю, стараться.

– Ну, вот, старайся. Ну, вот, представь себе, этот самый капитанишка, у которого Ларио жил, проснулся бы однажды и захотел быть вдруг справедливым и последовательным... жене признался бы про няньку, детям объяснил бы, что он из-за них же взятки должен брать; доказал бы и им, что ничего другого, кроме негодяев, из них не выйдет; начальству своему объяснил бы, что он вор... Встретил бы на улице нищих, ничего не евших, отдал бы им от них же награбленное... сам бы очутился в таком же положении... пришел бы сам уже к какому-нибудь пузатому трактирщику требовать и себе еду... ему не дали бы... что ж он? повесился бы или убил трактирщика? В тюрьму или в сумасшедший дом? Ну, он пристроился, а семья, дети?... И тяни свою ляжку: кто способен ее тянуть, тому и место и в жизни, а кто нет – за борт...

Шацкий замолчал.

– Ужасная теория...

– Ничего ужасного... ужаснее сентиментализм, фарисейство, ханжество... делайте гадости, но не называйте по имени... Швейцар? швейцар и швейцар, а будь у него миллион? завтра же пред ним преклонятся... И нечего и морочить себя: можешь приобрести деньги, а с ними и право быть честным, умным, талантливым, право делать что хочешь, – живи; нет – пулю в лоб, и черт с вами.

Карташев смотрел в лицо Шацкого.

– Ты шутишь или серьезно говоришь?

– Я говорю то, что я и сделаю... А Васька никогда ничего не сделает, потому что в нем не один, а два и даже три человека сидят: один – зависимый от всего остального общества, другой – зависимый от кружка, а третий – он сам, раздвоенный, расстроенный... черт знает что...

Шацкий сморщился от боли и замолчал.

Карташев тоже молчал и вдумывался в слова Шацкого.

– Это ничему не мешает, – отвечал Шацкий. – Есть на свете, конечно, «священный огонь»... У кого он есть, так и есть, – деньги не только ему не мешают, а помогут...

– Да, но если я за деньгами погонюсь, то я там и останусь.

– Значит, не священный огонь!.. В Америке для юноши идеалом ставится богатство, и это не мешает быть у них Брет-Гартам... И всей Америке не мешает шагать черт знает как вперед, потому что, само собой, там каждый, делая свое дело, делает этим самым и общее громадное дело... потому что жизнь не богадельня, а мастерская... А что из этой мастерской выходит, об этом и говорит нам Корнев... и это, конечно, поймет такой же новый Корнев следующего поколения с своего маяка, но жизнь и от него уйдет... Для науки это нужно и для прогресса тоже, но для несущейся мимо жизни *c'est bete comme tout*...³² и жизнь идет, как идет, и вперед ее не забежишь, потому что там впереди еще нет никакой жизни... И вот этот, вот, что развалился в военной форме в своей коляске, он лучше подходит к требованию этой жизни, потому что его прет, и он прет без рассуждения...

– И ты его больше уважаешь?

– Я презираю его столько же, сколько и бессильный протест, но я хочу иметь право презирать... хочу иметь свое войско... деньги... и это американец понимает.

– Что ж американцы? их жизнь вовсе уж не такая симпатичная.

– Да?

– А конечно... эксплуатация самая дьявольская.

– Да, да... у нас ее нет... Вот это и есть гнусный сентиментализм и фарисейство: сами гнием на соломе, соломой питаемся, кулачество, с каким не сравнится никакая Америка!.. сами

³² это глупо, как всё... (франц.)

нищи духом, волей, знанием даже нашей действительной жизни... и ни к черту не годимся, а Америка – дрянь... не симпатичны... Факир индийский – недостижимый идеал для нас: у того хоть мужество есть – прямо лечь и лежать, отказаться от всего. Глупо, глупо все это... Презрение к подлецам вообще, а в частности у такого же подльца в услужении?... нет, мой друг, слуга покорный... Приходи, когда у меня будет несколько миллионов, я тебе с удовольствием один дам на газету, а вы, как тараканы на морозе, полопаетесь... но жалкой, зависимой роли я не желаю играть... Не желаю!! Не желаю!!

Шацкий так закричал, что, если бы не грохот мостовой, на него бы все оглянулись. Но мостовая грохотала, ехали экипажи, телеги, звонили конки, шли прохожие, и приятели продолжали изливать друг другу свои мысли.

– Но каким же путем ты хочешь нажить миллионы?

– Ну, подрядчиком сделаюсь, когда кончу курс.

– Надо знать же это.

– Узнаю... Надену смазные сапоги, поступлю в десятники.

– Ты? – граф, лорд?

– Буду и графом и лордом – чем захочу... и ты будешь считать за честь сидеть у меня в кабинете.

– И будешь мошенничать на подрядах, подкупать, раздавать взятки?

– Постой... Виктор Гюго нажил миллион своим писанием?

– Ну?

– И не он один. Граф Толстой сотни тысяч нажил... Это уж самый идеальный мир. Однако ж не стеснились взять с людей потому только, что могли это сделать. Почему же я буду конфузиться, если я тоже могу? И я ничем не торгую, а те своими идеалами торгуют. Возьми, чтоб хватило на жизнь: нет, он миллион берет. И все за честь для себя считают хоть посидеть рядом за тем столом, где сидит этот гений...

– Именно за то, что он гений.

– Ого! Почтище гению, Пушкину, за это самое всадили пулю, за то только, что авторитет своего гения не мог поддержать презренным металлом. Не хватало средств, а жена, жизнь, вся обстановка тянет. Первый предлог, и готово... нет, mon cher, все это глупо... Представь себе, что все – Корневы: мы бы все и сдохли бы с голоду, замерзли бы на улицах. А вот надо нам всем деньги – и кипит дело: и едим, и освещение, и дома, и театр, и коляски: только приготавливай побольше... и мне скажут спасибо. Памятник поставит потомство... да, да... Черт знает как далеко ты живешь... у этой дуры салоп подбит не ватой, а воздухом.

– Теперь уж недалеко.

Когда подъехали к квартире Каргашева, Шацкий, не слезая с извозчика, проговорил:

– Ну, выноси скорее.

– Зайди.

– Ты вежлив, но... можно мечтать, сидя в салопе своей горничной, о миллионах, но смущать этим салопом мирных обитателей... мой друг, у меня еще будет время смутить их. Да и ты сам, как ни вежлив, но затрудняешься в настоящий момент, как быть тебе с своей горничной при моем появлении в этом виде.

– Я? вовсе нет...

– Тёма, Тёма, как ты прозрачен... Но утешься: Корнев еще больше твоего смутился бы.

– Чудак... Ну, хорошо, я сейчас вынесу тебе.

– A la bonne heure. Послушай, карточки из альбома не вынимай, а то ничего не дадут.

– Там же портреты матери, сестер... Ну, хорошо... только не потеряй.

В комнате Каргашева сидел Корнев.

– Шацкий здесь, сидит на извозчике, – говорил Карташев, вынимая Георгиевский крест отца и альбом. – Нужда у них с Ларио. Его прогнали... Ларио в одном белье... Шацкий все с него продал и с себя все... сидит в салопе горничной на извозчике и больной совсем...

– Хороши!

– У меня тоже денег нет, вот это заложит... звал его сейчас зайти – не хочет.

– Ну, и пускай уезжает себе.

– На извозчике мне всю дорогу теорию практики жизни излагал...

– Вот как... Послушай, у меня есть деньги, но на время...

– Я недели через две получу...

– Так возьми... сколько?

– А сколько ты можешь?

– Пять рублей могу.

– Давай.

Карташев выбежал к Шацкому: перепал ему альбом, крест и пять рублей.

– Заходи, – повторил еще раз Карташев, – Корнев здесь, посидим.

– Мой друг, нам с Корневым нечего делать... кланяйся ему. Спасибо.

– Прощай.

Карташев посмотрел еще вслед отъезжавшему Шацкому, худому, сгорбленному в своем салопе, и пошел в дом.

Корнев принес новости: Иванов попался.

– Я боюсь за Моисеенко, – раздумчиво говорил Корнев. – А у вас в университете...

– Я ничего не слышал.

– В триста человек, говорят, собралась толпа ваших студентов.

– Когда?

– Да ты ходил на лекции это время?

– Все-таки ходил... ничего не было.

– Было.

– В чем же дело?

Корнев рассказал в общих словах.

– Мне это рассказал ваш студент... расспрашивать подробности неловко было; на лбу ведь не написано; может, заподозрит еще – для чего мне надо это знать?

– Вот из-за этого и я стесняюсь: вдруг примут черт знает за кого... Приснится, а потом и ходи, пальцем на тебя станут показывать... я уж и молчу... У нас много таких, от которых сторонятся, да, в сущности, каждый на другого так смотрит, наверно: в душу ведь не заглянешь.

– Занимаешься?

– Зубрю...

– Тоска смертная... То есть ни читать, ни заниматься, рад был бы очень, если бы отнесли уже на кладбище, право... сразу хоть конец...

Корнев потянулся, прошелся по комнате, лег на кровать и запел:

– Со святыми упокой... – Он оборвался. – Ну что ж, Тёмка, скоро и домой... как там... – Он озабоченно принялся за ногти. – Найдут ли в нас перемену? Мне кажется, я постарел лет на двадцать.

– А я сегодня, Васька, стащил-таки свою повесть в «Дело».

– Да?

– Сказали, через две недели.

Корнев молча грыз ногти.

– О чем? Есть черновик?

– У переписчицы остался.

Карташев передал содержание своего рассказа.

– Хорошо написан? Доволен?

– Кто его знает? Кажется, хорошо...

– Да у тебя как-то больше веры, что ли, в жизнь, а я положительно начинаю скисать...

Ну, что в самом деле? Так жить, как надо, нельзя, очевидно... жить жизнью изо дня в день не можешь... положительно завидуешь этим, что лезут очертя голову... и верят, вот что главное...

Карташев начал излагать теорию Шацкого.

Корнев с презрением слушал.

– Ну-с, это уж совсем ватерклозет, – заметил он, махнув рукой. – Для этакой жизни, чтобы все общество ею прониклось, надо еще, по крайней мере, в течение двух поколений операцией заниматься... Нет, конечно, я верю, что вовсе не к тому идет дело, но и не так уж быстро оно идет, чтобы мозоли готовить.

– Как мозоли?

– Марья Васильевна на днях говорила, будто я рискую, что у меня на руках нет мозолей...

– Я не понимаю.

– Ну, вот, такое время приближается, что все должны будут работать... белоручек не будет...

XXI

Недели через две, в начале мая Карташев отправился в редакцию узнать о судьбе своей рукописи. В этот же день начинались экзамены первой группы его курса у знаменитого профессора. Первоначально Карташев хотел держать именно в первой группе, чтобы скорее ехать домой, но «повесть» отняла много времени, и Карташев перенес экзамен в пятую, последнюю. После редакции он решил зайти в университет, чтобы присмотреться, как экзаменуют, что спрашивают и на что особенно следует ему поналечь. Непройденных оставалось у него всего три последних листа из восьмидесяти четырех листов всего курса. Таким образом, положение дел с университетскими экзаменами обстояло почти блистательно и нимало не тревожило Карташева. Зато волновало, что сегодня ему скажут в редакции.

Быть или не быть? Примут или не примут – одинаковое количество шансов и за и против, и если в данное мгновение охватывало тоскливое предчувствие, что не примут, то дома следующего квартала были такими же свидетелями откуда-то вдруг появлявшейся надежды. Радость, впрочем, и не могла не охватывать: весеннее утро было полно кругом непередаваемой прелести. В парке уже тонкой, прозрачной паутиной нежных листочков окутались деревья, прозрачный туман быстро исчезал в молодых лучах солнца, вдали сверкали какие-то неясные образы – смесь действительности, аромата весны, яркого утра; крупные капли росы еще горели на выбегавшей молодой травке; легкий ветерок, играя, закручивал пыль улицы и уносил ее легко и беспечно далеко вперед.

Сверкнула Нева, могучая, плавная, в дымке тумана, в лучах солнца. На левой стороне ее оставалась тихая, спокойная, как городок провинции, Петербургская сторона с высоким шпирцем Петропавловской крепости; по правую – росли один за другим в неподвижном величии громадные многоэтажные дома. Дворцовая набережная, гранит, Летний сад, часовня у входа; яркое утро, нарядные дамы, их кавалеры: военные, штатские в цилиндрах, цветных перчатках, с покроем платья и манерами, которые говорили о чем-то недостижимом, о другом каком-то мире. Будет ли он, Карташев, когда-нибудь своим в этом обществе? И что лучше: быть в этом обществе или чтобы приняли в редакции его рукопись? Конечно, чтобы рукопись приняли... Последнего ли фасона платье, нарядное или нет, но все это только достояние ведь червей и прах земли. Время смахнет их, и ничего для памяти людей не останется, тогда как писатель!.. Да, да, конечно, писатель все, и за это можно отдать жизнь, радости, счастье.

Сердце Карташева на мгновение замерло в непередаваемом восторге, что он, Карташев, может быть, уже писатель и, следовательно, уже выше всей этой прозябающей толпы.

О, какой чудный аромат, как искрится река, и воздух, и синее чудное небо: точно юг. И последние полосы тумана исчезли, и вся даль, как умытая, яркая, вырисовалась и застыла в неге и истоме лучистого дня. Только нет белых маркиз юга, нет моря, нет еще чего-то, чего не заменит весь блеск этой нарядной картины... Ах, если он имеет право жить, как хочет, он не будет жить здесь в Петербурге: он уедет назад к себе, в степи, к морю... Странно: когда он жил тогда на своей родине, его так тянуло к северу, к угрюмой зиме; ему казалось, что он не любит юга, а теперь, теперь он чувствует, как замирает от радости его сердце, от мысли, что скоро он опять уж будет на родине... и будет уж студентом второго курса, бросил курить, писатель... слишком много, слишком много счастья...

Карташев с замиранием вошел в контору редакции.

– Не принята! – лаконически, резко, чуть не крикнул ему прежний господин с острым взглядом, возвращая рукопись.

Карташев что-то хотел спросить, но мысли вихрем закружились в его голове, закружилась редакционная приемная, и только неподвижно, точно злорадно все смотрел, пронизывая, тот господин, что возвратил рукопись. «Здесь все кончено», – промелькнуло в голове Карташева,

и вместо всякого вопроса он поспешил, как можно скорее, выскочить на улицу, с ощущением человека, получившего что-то вроде пощечины.

Он спрятал рукопись и быстро пошел с единственной заботой, чтобы никто не догадался, что именно произошло с ним. Он и сам не хотел думать об этом. Ясно одно: случилось что-то большое, нехорошее, что навсегда запирало перед ним дверь иной, какой-то высшей в сравнении со всей этой толпой жизни... Отныне надо навсегда помириться с жизнью этой толпы. И сердиться даже не на кого: не вышел номером, и конец. Ну, что ж, живут же люди, и он, Карташев, такой же, как они... Такой же, конечно; но на душе больно и пусто, и, кажется, нет тех жертв, которых не принес бы он, чтобы иметь право входа туда, куда так тянет... Но никому его жертв не надо, все идет, как идет, все с виду спокойно и благодушно, как этот весенний день, как эта праздничная толпа, все, что называется жизнью и что порой так сразу, вдруг и так страшно оскалит свои зубы.

Карташев пошел по Дворцовому мосту. Здесь почти уж не было пешеходов, здесь можно было уже думать, не боясь, что кто-нибудь прочтет его мысли, и Карташев, дав себе волю, стал напряженно вдумываться во что-то. Во что? Что такое жизнь вообще и почему его рукопись не приняли в частности. Не все ли равно? Но если нельзя жить так, как хочется, то стоит ли жить? И жить не стоит, и умереть – не умрешь только оттого, что хочется этого. Хорошо было бы, если бы можно было умереть от одной мысли, что хочу умереть; подумал только – и нет уж тебя, исчез сразу, как дым, как мысль...

Карташев, пройдя Дворцовый мост, пошел к университету.

Он шел устало, прищутив один глаз и смущенно избегая взглядов прохожих.

«Лучше было бы и не пробовать писать: по крайней мере, думал бы, что захотелось, и мог бы стать писателем».

Масса студентов. Сидят на скамьях, стоят у дверей. Перед скамьями маленький стол, за которым посередине сидит старый профессор, по бокам его ассистенты. У окна студент с программой обдумывает свой вопрос, перед профессором в кресле сидит другой студент. Ничего официального, все так просто. Студент что-то говорит, а профессор угрюмо слушает.

– Я, – говорит профессор, – все-таки не могу понять, почему идеалиста Гегеля опять сменяют материалисты Бауэр и Фейербах?

Студент напряженно трет лоб.

– Господствовавшее тогда движение, – говорит смущенно студент, – в обществе, отрицание основ религии не могло не сказаться...

– Позвольте, – резко перебивает профессор. – Я понимаю, можно не знать, потому что не подготовились, можно и читать – и не схватить сути, но так прямо быть уверенным, что все, что бы вы ни сказали людям, всю свою жизнь посвятившим изучению данного вопроса, сойдет... на что тут можно надеяться?!

Профессор энергично заерзал и, уткнувшись в журнал, угрюмо проговорил:

– Я не могу признать ваши ответы удовлетворительными.

Отвечавший студент вспыхнул и, беззвучно поднявшись, быстро исчез из аудитории.

Карташев внимательно слушал. Он так бы ответил: сила в том, что абсолют вне нас, и роль человека при таком положении так ничтожна, такой рок... Фейербах же – последнее слово науки – центр тяжести перенес в ум человеческий, – воля в нас, в человеке... наш русский философ обосновал эту личность, как властного царя жизни... «Ах, – подумал Карташев, – если бы мне этот билет! И зачем идут, когда не знают? Действительно, глупо! на что надеяться? не гимназия же: только себя конфузят».

Старый профессор все сидел угрюмый, не вызывая нового и не начиная спрашивать очередного, уже успевшего обдумать свой вопрос.

– Так понижается уровень развития, – повернулся профессор к ассистенту, – что еще немного – и придется или оставить чтение лекций, или читать по особым учебникам...

Он наклонился к списку.

– Господин Карташев! – глухо понеслось по аудитории.

Карташев замер, вспомнив только теперь, что он, решив держать в пятой группе, забыл переписаться. Идти или нет? трех билетов только не знает. Боже мой, но разве он не привык рисковать на экзаменах? И когда раньше он был так подготовлен, как теперь?

Карташев уже подходил к столу, где лежали билеты.

– Семьдесят второй.

Всех билетов было семьдесят пять: Карташеву достался билет из последних трех листов.

«Не может быть, – подумал Карташев, отходя к окну. – Это просто какой-то плохой сон... Но что же теперь делать?!» Карташев растерянно сел и начал читать программу.

«Право в объективном смысле... право в субъективном...» – читал он. И ведь какие легкие всё вопросы: если Гегеля в конце концов разобрал, то это ведь только раз прочесть... Полчаса каких-нибудь... Но не читал... Зачем он сразу не объяснил профессору, в чем дело! Как это все, однако, глупо...

Карташев уныло сидел, уныло поднимал глаза на аудиторию, полную студентов. На него тоже смотрели. Сейчас он выступит на позорище перед всеми. Если в году смотрели на него и меряли пренебрежительным взглядом, то все-таки оставалась, может быть, тень сомнения, – может быть, он и умный и ученый, может быть, гений даже. Но сейчас уж никакого ни у кого сомнения не будет – он выйдет на свой эшафот, и все узнают, кто он и что он. Но как же все это вышло? Ах, заснуть бы и проснуться в какой-нибудь совершенно другой обстановке, чтобы забыть навсегда, навсегда о том даже, что все это было когда-нибудь... Уехать в Америку, воевать с индейцами, сделаться начальником какой-нибудь шайки авантюристов, разбогатеть и с Шацким вместе опять появиться и все этим, которые теперь ждут скандала, доказать... Ах, какие это все глупости... Господи, хоть скорее бы... сразу...

Отвечавший студент кончил.

«Надо откровенно признаться, – созрело в голове Карташева решение, когда он сел в кресло перед профессором. – Как удобно сидеть... Эх, лучше бы уж стоять, как в гимназии: знаешь, по крайней мере, что начальство – и конец, не стыдно хоть бы было...»

Карташев тихо, мягко начал объяснять профессору, как это вышло, что он не успел прочесть последних трех листов. Он старался придать своему голосу тот испуганный тон, которым привык говорить в гимназии.

– Зачем же вы время отняли? – грубо, с раздражением перебил его профессор.

Карташев подумал напряженно и начал врать.

– Я надеялся, что восстановлю в памяти вопрос по слушанным лекциям.

– Если бы вы хоть раз слышали, вам не составило бы труда ответить... вы надеялись... но я-то здесь при чем?! Теперь вы будете обдумывать новый вопрос, ваш товарищ тоже, а я буду сидеть сложа руки?

«Так он, вероятно, в халате, старая брюзга, брюзжит на экономку за плохо выглаженную манишку», – подумал Карташев и, вдруг переменив тон, ответил:

– Все остальное я могу сразу отвечать.

Профессор совсем огорчился: что-то закипало в его душе; он точно хотел или встать, чтобы уйти, или крикнуть всем этим Карташевым, которые нагло лезут, неподготовленные, неразвитые, изолгавшиеся и изовравшиеся, – что они унижают университет, что alma mater не полицейское управление, где выдают паспорта на жительство. Но профессор только стиснул зубы и несколько мгновений в упор смотрел на Карташева...

– Изучая право, – с подавленным бешенством заговорил он, – вы отказываетесь от определения этого права; могу ли я признать ваше знание удовлетворительным?

– Позвольте мне держать в пятой группе...

Профессор безнадежно отвалился в свое кресло.

– Я не могу...

– Из восьмидесяти пяти листов я не знаю всего трех...

Профессор стремительно и бурно перебрался из кресла к самому носу Карташева.

– Это в лавке... это в лавке торгуются... и меряют аршинами, а не здесь... вы ошиблись, милостивый государь!!

«Милостивый государь!» так же загудело по всей аудитории, как и на первой лекции. Сердце Карташева тоскливо сжалось.

– Я могу только, – опять успокоенно, после долгого молчания, заговорил профессор, – соблюсти формальность закона; извольте брать новый билет.

«Ну и черт с тобой, – подумал Карташев, – по крайней мере, хоть студенты увидят, что я остальное знаю».

С лицом приговоренного и озлобленного он вынул новый билет.

– Восемнадцатый: киренаики. Вы сказали, можете не обдумывая отвечать?

– Могу, – раздраженно ответил Карташев.

Карташев начал, но профессор перебил его два раза подряд.

– Позвольте мне, – побелев как стена, сказал громко, резко и твердо Карташев – сперва ответить, а затем уже вы скажете мне свои замечания.

Профессор бросил карандаш и, отвалившись на спинку кресла, подперся уныло рукой.

Карташев говорил уверенно, точно, придерживаясь чуть не вызубренных им лекций. Он говорил, и в памяти его вставало все то, что было и на другой странице, и на третьей, в каком именно углу, и дальше все до конца. Речь его лилась плавно, без запинки, уверенно. И в то же время он не переставал чувствовать всю боль своего незаслуженного унижения, голос его дрожал, и, отвечая, он не смотрел на профессора.

– Это вы знаете... довольно...

У Карташева отлегло на душе, боль и оскорбление сменились опять надеждой на благополучный исход. Профессор обдумывал что-то, а Карташев внимательно, уже извиняясь глазами за свой и за его резкий тон, смотрел ему в глаза. Но маленькие глаза профессора горели из-под нависших седых бровей и смотрели куда-то в угол аудитории.

Он оторвался наконец от каких-то своих мыслей и устало, нехотя, угрюмо произнес:

– По закону вам полагается еще три вопроса...

Карташев замер.

– Что такое право в объективном смысле?

– Профессор, я как раз от этого вопроса отказался, – как мог мягче и заискивающе проговорил Карташев.

Профессор помолчал и медленно задал второй вопрос:

– Что такое право в субъективном смысле?

Аудитория замерла.

Карташев понял, что его срежут, и молча взбешенно смотрел на профессора.

Профессор встретился на мгновение с ним глазами и, быстро повторив первый вопрос: «Что такое право в объективном смысле?» – загремел на всю аудиторию:

– Довольно!!

Он схватил карандаш и сильным взмахом поставил против фамилии Карташева единицу. Не два, а единицу: толстую, громадную, уродливую.

Карташев вскочил как ужаленный. Кресло его откинулось и упало на пол. Все замерло на мгновение. Казалось, что вот-вот произойдет что-то страшное. Но ничего не произошло. Карташев только хлопнул дверью на прощанье, выйдя в коридор. «Не посмел, – упрекнул он себя и вдруг вспыхнул: – Пусть только выглянет сюда».

Карташев подождал: никто не выходил, и в аудитории царил мертвая тишина.

Вдруг, как огнем, обожгла его мысль, что то, что происходит теперь за этой высокой дверью, там, в аудитории, его больше не касается. Он, как мертвый, уже вычеркнут из списка всех тех живых, что сидят там... но он жив и в то же время... Это он, он, Карташев, переживает всю гадость этого унижительного мгновенья, и от него некуда убежать...

«Не останусь в университете, домой не поеду, буду готовиться в институт путей сообщения», – бурей пронеслось в голове Карташева.

Он как ошпаренный выскочил на улицу... к той самой толпе, выше которой еще утром хотел быть.

Дома на вопрос, что с ним, Карташев только ответил: «Я получил единицу по энциклопедии», – и бросился в свою комнату. Там, давя и глотая слезы, он присел и написал, не раздеваясь, следующую телеграмму домой: «Срезался, получил единицу, поступаю в институт путей сообщения, домой не поеду и от всяких денег отказываюсь».

Последнее вышло неожиданно. «Надо», – подумал Карташев и оглянулся: на столе как лежали с утра лекции, так и остались... и конспект с недоконченной фразой, – на мгновение даже восстановилась связь с тем уравновешенным удовольствием, с каким он еще сегодня утром вел этот конспект, пронеслось кошмаром какое-то далекое воспоминание о редакции; обнажилась рана и боль всего только что случившегося, боль и оскорбленное самолюбие... Но ведь он учил, он старался, он почти полгода занимался одним предметом... и слезы опять приступили к горлу.

«Ничего, пускай... Делайте что хотите».

Карташев взял телеграмму и вышел на улицу.

Какой-то туман был в его голове.

Теперь все это еще в нем, но это все быстро уйдет из него, как корни какого-то фантастического растения, которые вплетутся быстро и скоро во все, во все отношения его жизни и навсегда останутся, связав все каким-то непреодолимо прочным цементом. И ничто уж не переменится, весь строй его жизни пойдет уж от этого заложенного прочно фундамента... Карташев точно стоял на обнаженном обрыве своей жизненной постройки и, чем-то смутно тревожимый; о чем-то думал... о чем-то большом, бесповоротном, пред чем и он, и профессор, и все это казалось таким маленьким, ничтожным и в то же время таким безвыходным, неизбежным с точки зрения условий данного мгновенья.

«Ничего: буду ремесленником... Пошлю телеграмму, отнесу объявление в газету об уроке... все перемелется... еще с каким удовольствием вспоминать буду!.. жизнь большая штука, и все это такие глупости и мелочи...»

XXII

Наступили жаркие дни. Контраст молодой травы и жары вызывал какую-то особую истому и лень.

Карташев уже подал прошение об увольнении из университета, получил свои бумаги и отнес их в институт путей сообщения.

Накупив гимназических учебников по математике, он опять принялся за то, что считал уже сданным навсегда в архив жизни.

Опять пошли *sinus*'ы и *tangens*'ы, бином Ньютона и логарифмы – все то, что так живо вызывало воспоминания о гимназии, о прежней жизни. Это было приятно. Математика своей определенностью и ясностью как бы снова вводила его в знакомое, хорошо исследованное русло. Нет больше тумана от всех этих абсолютов и разных неудобопроизносимых методов...

Теш обиднее было, что, срезавшись на восемьдесят третьем листе, Карташев узнал, что уже вывесили объявление, что с будущего года новейшие философские системы совсем не будут читаться при изучении философии права и исследования будут впредь заканчиваться Монтескье.

– Тем лучше, – махнул рукой Карташев, – чем быть плохим юристом, я лучше буду хорошим ремесленником: буду практиком этой жизни...

Тем не менее, несмотря на занятия и самоутешения, невозможная скука томила Карташева.

В открытые окна, раздражая, врывается то зовущий треск мостовой – кто-то куда-то ехал, – то слышался из парка веселый смех, песня, татарин кричал низким басом: «Халат! халат!», разносился тонкий, звенящий голос торговки: «Селедки галански, се-лед-ки!»

Карташев отрывался от занятий и смотрел в окно: вон два парня в парке борются, один повалил другого, и оба лежат на траве, смеются, и не хочется им вставать; солнце заливает своими лучами и улицу и парк; бежит мимо какая-то простая девушка, – глаза возбужденные, живые, – дарит Карташева веселым взглядом и несется дальше в аромате жаркой весны, истомы чего-то, что тянет к ней, к ее веселости, к ее жизни...

Новость. Верочка подвизается на подмостках какого-то загородного театра. Поет шансонетки: зарабатывает, как может, свой хлеб. И он, Карташев, хотел было зарабатывать, но от матери полетели и телеграммы и письма, получил на дорогу и еще получит. И все-таки ничего, кроме долгов, у него нет: квитанции на все вещи просрочены – верно, и продали уж их... Сюртучная пара, стоившая сорок пять рублей, так и пропадает за семь... Эх, если бы тысячу рублей: сделал бы себе все новое, поехал бы на острова, посмотрел бы на Верочку... А может быть, и у него, Карташева, есть актерский талант, и он бы мог зарабатывать... Вдруг – так, шутя – попробует себя, и окажется у него громадный талант. И он знаменитость, все наперерыв его приглашают, во всем мире известен; за каждое представление по пяти тысяч... Эх, надо заниматься...

Когда он так занимался однажды, раздался звонок, и к нему в комнату вошла худая, с плоской, как доска, грудью, горничная Шацкого.

Она подала Карташеву письмо от Ларио.

Ларио писал, что у Шацкого третий день жар, жалуется на голову, которая вздулась, лицо красно, как бурак, пухнет, а сегодня начался и бред.

«Приезжай, потому что черт его знает, что мне делать: он меня заложил, я его, – и теперь мы даже и выйти не можем».

Карташев, захватив с собой все, какие были у него, деньги – а было рубля три, – поехал к Шацкому.

Дело было хуже, чем он ожидал.

Шацкий был неузнаваем под водянистым красным колпаком, раздувшим его нос, губы и щеки. Неподвижно лежа, он что-то выкрикивал по временам, что-то говорил непонятное, горячее. Очевидно, ему рисовалась его домашняя обстановка: он спорил, торговался или ругался с отцом, с зятем...

Ларио сидел на диване в грязном нижнем белье и уныло смотрел, не сводя глаз, на Шацкого.

В доме не было ни копейки денег. Имелся только чай, сахар да несколько папирос – все, купленное на деньги, вырученные горничной от залога вещей заболевшего Шацкого.

– Ну, спасибо, хоть приехал, – обрадовался Ларио, – а то сумно... того и смотри, помрет...

– За доктором посылал?

– Понимаешь... к кому же я пошлю?... кого?... я сам, как видишь... эта дура горничная...

– Доктора прежде всего надо, – сухо перебил Карташев.

– Конечно, надо, – обиделся Ларио, – и я отлично понимаю, что надо... затем и послал за тобой...

– Надо Ваське дать телеграмму...

Карташев написал телеграмму и отправил ее с горничной.

Ларио сидел молча, обидевшись и надувшись.

– Давно он заболел? – спросил как мог мягче Карташев.

– Понимаешь... собственно, вчера...

И Ларио торопливо, озабоченно, полузакрыв свои итальянские глаза, начал рассказывать, как и когда началась болезнь Шацкого.

– Понимаешь... эту ночь я почти всю не спал с ним... Голова болит... Черт знает как это все глупо...

– Ложись, я останусь...

– Ты останешься?

Ларио сразу успокоился и удовлетворенно посмотрел на Карташева...

– То есть черт знает как это все тут вышло, – именно только недоставало заболеть ему...

Хлеба нет, чаю нет... Заложил его платье...

Ларио развел руками.

– Заложил?!

– Ну, а что ж – с голоду подышать? И квитанцию положил ему на столике: помрет – ничего не надо, а жив останется – недорого... рубль семь гривен только и дали... Купил три фунта сахара, четверть чаю, колбасы там, хлеба, пять десятков папирос, дал горничной на дорогу к тебе – и все!

Ларио, точно извиняясь перед Карташевым, развел руками.

– Да-а... – раздумчиво протянул Карташев.

Оба замолчали.

Горничная возвратилась с квитанцией от телеграммы, поставила самовар и подала его.

– Ну, а этот урок за границу, о котором хлопотал для тебя Шацкий? – спросил Карташев.

– Понимаешь, опять сегодня приходил швейцар: просил прийти... ну, а как? Вот я хотел поговорить с тобой... понимаешь, хоть бы на время, только сходить...

– Да, необходимо... надевай мое платье, – я ведь все равно никуда не пойду... Разве вот не спал ты?

– Это ничего... Разве пойти в самом деле?

– Иди, непременно иди... Может, задаток дадут.

– Пожалуй, пойду я... Или уж Ваську подождать? До завтра, все равно уж...

– Нет, нет! сейчас надо... Завтра уж могут другого взять.

Ларио совсем было оделся и опять нерешительно проговорил:

– Неловко, знаешь...

– Что ж, Петя, с голоду же иначе сдохнешь...

Ларио вскипел и с отчаянья только рукой махнул.

– То есть черт знает как не люблю я шляться так, вот к этаким... Была у меня квартирка; как-никак голубя поймаете, и черт с вами со всеми...

– Лишь бы дело выгорело! – выпроваживал его оставшийся, в свою очередь, в нижнем белье Карташев, – а там опять заведем и голубей и коляску...

Ларио ушел, а Карташев остался с Шацким.

Шацкий чаще вскрикивал, громче говорил что-то и становился беспокойным. Карташев позвал горничную, горничная привела хозяйку, и они втроем стали совещаться, что может быть у Шацкого. Бледная, изнуренная хозяйка, с преждевременно старческим лицом, растерянно смотрела своими добрыми голубыми глазами на Шацкого и говорила осторожно, точно пугаясь собственных слов:

– На рожу похоже... если мелом прикладывать... да сахарной бумаги... – Она вздохнула, сделала страшные глаза и кончила: – А все лучше доктора...

– За доктором я послал... А хуже не будет, если мы начнем прикладывать наши средства?

– Не знаю... не с чего бы... еще красной фланели вот прикладывают...

Карташев, лежавший под одеялом, чтобы прикрыть свою наготу, приподнялся:

– Так давайте будем делать, что можно...

Нашли мел, бумагу, красную фланель. Карташеву пришлось оставить кровать, и он, извинившись за костюм, встал. Хозяйка на его извинения только махнула рукой: все перевидала она на своем веку, и ей даже не интересно было, как это вышло так, что Карташев тоже очутился в одном белье. Очевидно, так надо, или такова уж эта комната, что все остаются в одном нижнем белье.

Прошло еще два часа. Обязанный Шацкий заметался сильнее, все порывался встать, чтобы куда-то идти. Карташев постоянно укладывал его и, наконец, поместившись с ним рядом, осторожно обхватил его и слегка придерживал. Шацкий успокоился и лежал опять неподвижно.

Наступила майская белая ночь. Карташев лежал рядом с Шацким и думал, что хорошо бы, если б зажгли лампу; думал, куда мог деваться Ларио; думал, не умер ли уж Шацкий, как вдруг раздался резкий звонок, и громкий чужой голос спросил:

– Здесь больной студент?

«Слава богу! – подумал Карташев, вставая и зажигая лампу, – хоть вечером приехал: подумает, что я уже разделся».

Вошел молодой брюнет с черными густыми волосами, более длинными, чем обыкновенно носят; бросил свое пальто и шляпу; вытянул манжеты и, широко разведя руками, точно его что-то давило, обратился к смущенно поднявшемуся к нему навстречу Карташеву:

– Вы больной?

– Нет, вот на кровати больной...

– А-га...

Шацкий вдруг заметался и громко закричал:

– Капитанишка!

Карташев не удержался от улыбки.

– Это кого он? – мимоходом бросил ему доктор, снимая бумагу и фланель с Шацкого.

– Тут один был...

– Вы тоже студент?

– Да... то есть я был на юридическом, но срезался...

– Вы бы в доктора...

– У меня не лежит душа: вечно с больной стороны людей возиться...

– Да, это конечно... Кто ж это надоумил вас опутать всей этой дрянью больного?
Карташев рассказал.

– А что, не надо было?

– Да ничего... Дайте-ка сюда лампу...

Доктор молча осмотрел лицо и голову Шацкого, поставил термометр, выслушав пульс, сердце, и, глядя на часы, сидел и ждал, придерживая руку Шацкого.

– Рожа, – наконец категорически заявил он.

– Это опасно, доктор?

– Н-да... у вас нет царапин? Надо немного... беречься... заразительно.

Карташев стал осматривать себя: нашлась царапина на руке, какая-то ссадина на лбу. Он показал и с тревогой посмотрел на доктора. Доктор сделал гримасу.

– Я вам дам на всякий случай дезинфекционное средство... Хотя все-таки, как врач, я должен предупредить вас... что не гарантирую вам полную безопасность. – Он посмотрел на смутившегося Карташева и спросил пренебрежительно: – А вы боитесь счёрти?

– Н-нет... особенно если без мучений, я согласен, хоть сейчас...

– Без мучений...

Доктор вынул термометр из-под мышки Шацкого, сморщился и пошел к столу.

– У больного средства есть?

– Д-да, – ответил с некоторым усилием Карташев.

– Недели три протянется... вы с ним и живете?

– Да... то есть я теперь буду жить.

– Дайте мне чернил и перо.

Карташев нашел бумагу, крикнул горничную, и та принесла перо и чернил.

Доктор прописал лекарство, поднялся, протянул руку Карташеву и, почувствовав в своей руке два рубля, пренебрежительно, но бесповоротно оставил их в руке Карташева.

– Это уж я с вашим больным рассчитаюсь... Завтра часам к двенадцати буду... Корнев просил вам передать, что завтра после экзамена зайдет...

Доктор ушел. Ларио все не было. Где он мог пропадать? Мало ли что могло случиться? Вывеска упала на голову, упал и сломал ногу, мог упасть как раз затылком и разбить себе голову так, что и не пикнул... Лежит теперь где-нибудь под рогожей... А может быть, он встретил своего капитана?! Карташев замер при этой мысли: вероятнее всего, так...

Горничная принесла лекарства, и Карташев, согласно наставлениям, проделал с Шацким все, что требовалось. Ему хотелось спать, но он боялся заснуть: Шацкий в бреду мог выскочить из комнаты, мог опрокинуть лампу. Комнату можно запереть, лампу потушить; но Шацкий мог выброситься в окно... в бреду это так легко... мог, наконец, и его, Карташева, задушить: мало ли что ему могло прийти в голову.

По приказанию доктора Карташев сообщил хозяйке, что болезнь заразительна и чтоб она предупредила квартирантов. В соседней комнате уже укладывался какой-то старичок, чтобы ночью же переехать в гостиницу. Хозяйка тоскливо вздыхала:

– Вот такая и вся моя жизнь: за какое дело ни возьмусь, все еще хуже выходит!

Карташев утешал ее, что ей будет за все заплачено.

– Только и остался студентик в крайней комнате...

Среди ночи, в ожидании Ларио, Карташев и не заметил, как уснул, сидя на диване, с отпертой дверью, горевшей лампой и незапертым окном. Что делал Шацкий ночью, никто не знал, а утром, когда Карташев проснулся, он увидел его спавшим рядом с ним на диване. Голова Шацкого лежала на ногах Карташева, ноги его свесились на пол. Шацкий точно сидел, задушившись.

Ларио не было. Стоял жаркий беззвучный день, голубое небо заглядывало в комнату с большой, выступом, печью. Было тихо, как в камере тюрьмы, куда не долетает извне ни одного звука. В соседних комнатах, во всей квартире была тоже мертвая тишина.

Одиночество, пустота, соседство безумного, свое собственное безвыходное положение, – что делать? Нечего делать: ждать Ларио, ждать Корнева, выпить чаю, дать лекарство Шацкому и, пользуясь тишиной, почитать что-нибудь. А то разве попробовать написать еще что-нибудь? Нет, нет, незачем и растревлять свою рану...

Карташев увидел на нижней полке книгу и по формату ее сообразил, что это не учебник. Книга оказалась сочинением Вальтера Скотта «Карл Смелый», с биографическим очерком автора.

Он осторожно встал, позвал горничную и вместе с нею кое-как перетащил Шацкого на кровать. Шацкий совсем ослабел за ночь и почти не мог двигаться. Он стал еще уродливее, сильнее вздулось лицо, и только левая половина у рта сохранилась нормальной, напоминая прежнего Шацкого. Дав лекарство, Карташев через горничную переговорил с хозяйкой и занял соседнюю комнату. Он открыл туда дверь, пил чай и читал биографию Вальтер Скотта... И Вальтер Скотт жил в прозаической обстановке, был в долгах, был вообще таким же человеком, как все, так и смотрели на него все. Только под старость уж пользовался он славой, но так и умер в долгах... Да, да, очевидно, эта жизнь обычная, одна, и рядом другая какая-то жизнь, и если бы Вальтер Скотт не жил этой иной жизнью, он не мог бы и писать того, в чем столько мысли, чувства, красок... Да, что-то такое есть в жизни, есть какой-то ток, какая-то сила, которая в таком писателе, как Вальтер Скотт, собирается в своем чистом виде, усиленно горит, светит и тянет к себе людей... как маяк... Уж нет Вальтер Скотта, а мягкий огонь его маяка все горит, все светит людям... Но ведь не все Вальтер Скотты... Конечно, не все, но капля у каждого есть... Весь мир не переделаешь, но в своем уголке можно много сделать... Его, Карташева, уголок теперь – его новое ремесло, круг его деятельности небольшой, но может быть производительным, а там остальные пусть, как знают... лишь бы он был хорошим...

«Пороки зависят от порядков эпохи, а не от человека, – вспомнил он и подумал, – а китайцы говорят, что от одного хорошего человека уже весь мир делается лучше. Так это или не так? Но надо же на чем-нибудь остановиться: при „*Saeculi vitia*“³³ складывай руки, нет точки приложения для своего идеала, но у китайцев, при их добром человеке и этой отдельной работе каждого, сколько тысяч лет все только одна проза жизни, все один навоз, а того, чего-то иного, высшего, что есть у гениев культурного человечества, нет и нет, и все пошло, тоскливо... И у нас, когда рвались к этим гениям, была и сила и мощь, а теперь реакция... Вот Рьльский пишет Корневу, что и Иванова движение реакционное... да и я, собственно, срезался ведь, если говорить откровенно, действительно же просто потому, что не подготовлен понимать идеи этого самого Запада... А какую-то идею надо, ну и валяй сплеча свою Америку; вот эти все Ивановы... и я такой же, и нет рамок, гарантирующих от путаницы на всю жизнь. Блуждать в каких-то потемках!...»

Карташев уперся в какой-то угол со своими мыслями и принялся за «Карла Смелого».

Иногда он отрывался от чтения, возвращался к действительности, в сердце точно кто-то вонзал иголку, и он думал: «Да где же Ларио?!»

Раздался звонок: «Вот он!»

Но это был Корнев с какой-то дамой. Карташев, выглянувший было в коридор, поспешно спрятался.

– Вы подождите, Анна Семеновна...

– Кто это? – спросил озабоченно Карташев вошедшего Корнева.

– Горенко... одевайся...

³³ Пороках века (лат.).

Этого только не доставало! Карташев оживленно рассказал Корневу о своем положении. Горенко провели в соседнюю комнату, и Карташев рассказал и ей через дверь всю правду.

– Есть одно только спасенье, – говорил он, – если я надену салоп горничной, но и тогда я все-таки буду босой.

– Да ерунда, иди, – махнул рукой Корнев, сидевший у кровати Ларио.

– Идите, конечно, – усмехнулась Горенко.

Через несколько мгновений Карташев вышел к Анне Семеновне.

– Как вы выросли! – могла только сказать Горенко, удерживаясь от смеха.

Карташев стоял перед ней, высокий, в длинном салопе, в носках, и сконфуженно смотрел своими наивными, растерянными глазами. Горенко кусала губы.

– Можно подумать, что вы сами больны, – произнесла она с своей манерой говорить сама с собой, – волосы отросли... волнами... настоящий поэт...

Она была одета в черное, просто, но все шло к ней; глаза ее, большие, синие, сделались еще глубже, загадочнее и сильнее магнетизировали. Она показалась Карташеву очаровательной, прекрасной, каким-то слетевшим ангелом.

– Я так рад вас видеть!..

– И я рада... – Она осмотрела его. – Этот костюм вам больше идет, чем теплое пальто, калоши и башлык в июле. Вам все ваши кланяются... Наташа еще похорошела...

Карташев глазами сказал Горенко: «И вы».

Она вспыхнула, отвела глаза и спросила с той строгостью, которая еще сильнее ласкает:

– Ну, теперь расскажите, что вы сделали хорошего?

Карташев рассказал о том, что срезался, что готовится в институт путей сообщения, и спросил о Моисеенко, но Горенко ничего не знала, где он и что с ним...

Она говорила сдержанно, неохотно, и Карташев чувствовал, что здесь с ним только ее тело, а душа вся принадлежит какому-то другому, недоступному для него миру. Его не тянуло в этот мир, потому что он не знал его, зато тянула Горенко, и рядом с ней, красивой, задумчивой, он хотел бы быть везде...

Карташев еще что-то спросил об ее муже.

– Больше меня ни о чем не спрашивайте, – я ничего и не знаю.

Карташев смутился, чем-то обиделся, – ему точно не доверяют, – и замолчал.

Корнев, осмотрев Шацкого, возвратился к ним.

– Тёмка – легкомысленнейшее существо, – говорил он, любовно посматривая на Карташева, – выехал из дома математиком, превратился в юриста, а теперь путеец... и все с одинаковыми основаниями... Эх, ты!

– А его, знаете, совсем рефлекс заел, – обратился задетый Карташев к Горенко.

Корнев покраснел.

– Что ж, – сказал он, – я согласен...

– А у нас все-таки хотя какая-нибудь жизнь.

– Ну, покорно благодарю и за такую жизнь, – вспыхнула Горенко, – уж лучше Сибирь... Ей-богу... для меня ваша жизнь положительно была бы хуже каторги...

Явился Ларио, и не один, а с Шуркой. Они шумно вошли в комнату Шацкого, куда бросился и Карташев. Дело разъяснилось: Ларио получил пятьдесят рублей в задаток и отправился к Марцынкевичу. Карташев обиделся, а «дрызнувший» уже Ларио, чувствуя некоторую вину, как бы извинялся, говоря:

– И, понимаешь, черт его знает, и сам не знаю, как попал туда и вот с этой самой...

– Да ну, ты, черт! – перебила его Шурка, – не ори... видишь, больной...

– А что – как? Был доктор? – спохватился Ларио.

– Господи, что с ним сделалось? – всплеснула руками Шурка. – Да вы его совсем умили... Этот в салопе ходит. Ха-ха-ха! Черти вы, да и только!

Карташев сидел в полном отчаянии: эта Шурка, свинья Ларио... там за дверью Горенко, которая все это представит себе совсем иначе...

– Что вы смеетесь? – сердито повернулся он к Шурке.

– А что? нельзя? – благодушно-насмешливо спросила она. – Злой? Грр... укусит!.. обезьяна... ха-ха-ха!

Шурка смеялась, смеялись Ларио и Корнев, выглянула Горенко и улыбалась, один Карташев в своем салопе был сердит и расстроен. Он думал: мало того, что возись с больными, мало того, что нарядили человека в шутовской костюм, – смеются еще, и главное – кто смеется? Ларио в его же платье, так бесцеремонно с ним поступивший!

– Тебе меньше всего следовало бы смеяться, – сказал он ему с гневом.

– Мой друг, но чем же я виноват... что ты... действительно шут...

– А ты свинья!

– Ну, ты полегче, а не то и в морду можешь получить.

– Что-о?!

Корнев едва растащил их.

– Господа! полно, что вы! Больной, дамы – перейдите хоть в другую комнату.

Все перешли в другую комнату, все говорили враз, приводили свои доводы, объясняли и объяснялись, кричали. Горенко успокаивала Карташева и Ларио, Шурка извинялась, ругалась и приставала к Карташеву, браня, требуя и умоляя его, чтобы он сейчас же помирился «с подлецом Петькой».

Свежее молодое лицо Шурки разгорелось, и она добилась-таки, что Карташев и Ларио помирились. Шурка радовалась, прыгала, поцеловала Карташева и сказала:

– А все-таки они уморят этого долговязого... Ну, нет... Вот завтра Петьку выпровожу – за границу едет... дурака вон выгонят оттуда... – а сама останусь здесь. Эй ты, салопник, в товарищи берешь меня?

– Едем! – обратилась Горенко к Корневу.

XXIII

Начало учебного сезона в технологическом институте сопровождалось беспорядками.

Еще с весны было вывешено объявление, что откладывать экзамены не допускается, но объявление было вывешено поздно, и большинство студентов уже разъехалось по домам.

Все не державшие согласно объявлению считались оставшимися, а все оставшиеся на третий год подлежали исключению. Таких набралось до двухсот человек.

В коридорах, в аудиториях студенты собирались и бурно обсуждали положение дел.

После одной громадной сходки решено было просить отмены сурового распоряжения. Приглашенный на сходку директор пришел в сопровождении инспектора, но раздались крики: «Вон инспектора», – и инспектор ушел. Директор был бледен, но тверд. Он старательно избегал всяких объяснений причин и определенных обещаний. Все попытки со стороны студентов ни к чему не привели. Тем более было непонятно поведение директора, что прежде он искал популярности у студентов. Убедившись, что пред ними уже стоит другой человек, студенты, пошептавшись, приняли решение освистать директора.

– Дорогу господину директору, – иронически почтительно крикнул стоявший рядом с Ларио студент, и от середины залы к дверям образовался широкий проход.

В напряженном ожидании толпа замерла.

– Прошу вас, господа, – указывая на проход, проговорил директор тем же, что и студент, тоном, – я выйду последним.

Эти слова были произнесены спокойно, уверенно, даже весело. Взрыв аплодисментов был ответом на находчивость директора.

– Но вы нам обещаете содействие в отмене распоряжения об экзаменах? – спросил кто-то.

– С своей стороны, я сказал, что сделаю все...

Студенты молча переглянулись и один за другим вышли из залы.

Прошло еще несколько дней. Об отмене вывешенного распоряжения не было и помину. На новой сходке решено было прекратить посещение лекций.

Студенты являлись в институт, толпились в коридорах, но в аудитории не шли. В пустых аудиториях стояли профессора и напрасно зазывали студентов, – с популярными профессорами студенты перебрасывались шуточками, а нелюбимых освистывали.

В ответ на эту меру студентов последовала новая репрессалия: технологический институт объявлен был закрытым.

На другой день студенты нашли парадные двери запертыми. Толпа студентов на улице перед запертым подъездом института росла, и, когда их собралось несколько сот, студенты через ворота и двор проникли задним ходом в здание института. Лекций, конечно, не было, но студентов не удаляли, и день прошел спокойно. Главным образом обсуждался вопрос о тех, кто получал стипендии, – получение их как раз совпало с закрытием института, и положение стипендиатов стало сразу критическим. Решено было на другой день опять пригласить директора, но на другой день и задние ходы оказались тщательно запертыми. Полный двор набилось студентов, а на улице стояла густая толпа интеллигентных зрителей.

Прошло еще две недели. В дверях института было вывешено объявление, что лекции начинаются снова, но предварительно студенты, каждый за себя, должны дать подписку, что беспрекословно подчинятся всем правилам института. Библиотека, столовая и касса закрывались.

Несколько дней шли бурные сходы в кухмистерских, на квартирах, в публичных заведениях и в конце концов, в интересах стипендиатов, решено было подчиниться.

В заседание конференции вводились по одному студенты и давали свои подписки. Иногда какой-нибудь студент, чувствуя себя неудовлетворенным, с чувством собственного достоинства, прочитав резкий текст подписки, пробовал возражать:

– То есть позвольте...

– Что там позвольте, – пренебрежительно перебивал его профессор Мальков, от всей души ненавидевший студентов и, в свою очередь, ненавидимый ими, – пишите или уходите... некогда, – вас много...

И студент, краснея от напряжения, подписывался и выходил, уступая место следующему.

Лекции начались, но не прошло и нескольких дней, как небольшой группой студентов беспорядки возобновились в очень резкой форме: разнесся слух, что одно из лиц администрации получило оскорбление действием. Говорили, что такое же оскорбление получил и Мальков.

Вторично была приглашена полиция и переписала всех студентов.

Профессор Мальков, указывая на того или другого студента, говорил:

– Этого господина подчеркните.

– Особенное обратите внимание...

Начались новые аресты. Многие, угадывая свою судьбу, благоразумно не показывались ни в институте, ни на своих квартирах. В числе их был и Ларио. Но за беглецами зорко следили и ловили их в кухмистерских, в гостях, в ресторанах.

Ларио некоторое время искусно скрывался, но, видя бесполезность борьбы, решил сдаться. Через одно лицо он повел разговоры с канцелярией института и предложил, что, если ему отдадут его бумаги, он добровольно уедет из Петербурга. Получив согласие, он однажды утром явился в канцелярию института, а через четверть часа явилась полиция и, арестовав его, препроводила в пересыльную тюрьму.

Там его встретила знакомая компания студентов громким «ура» и радостными возгласами:

– Давно ждали! Наконец-то!..

В общей камере был невозможный воздух, было тесно, но весело и сытно. Провизию в изобилии доставляли разные неизвестные посетители. Уныние наступало только тогда, когда того или другого студента со всеми его вещами требовали из камеры. Этот вызванный больше не возвращался, и в толпе распространялось тяжелое предчувствие недоброго конца. Но это быстро забывалось, и толпа, как всякая толпа людей и животных, продолжала опять жить своей обычной жизнью, руководствуясь девизом: живые для живых.

Однажды так вызвали и Ларио, и вечером того же дня в сопровождении жандарма он выехал из Петербурга.

XXIV

Карташев и Шацкий благополучно выдержали экзамены; Карташев вступительный и Шацкий на второй курс, а Карташев даже отличился: выдержал вторым.

– Мой друг, я никогда не сомневался, что ты выдающийся человек, – протянул ему руку Шацкий после экзамена.

Друзья в тот же день приобрели путевские фуражки и поехали на радостях в оперетку.

Там они сидели в литерной ложе. Карташев в левом ее углу, а Шацкий, поставив кресло спиной к сцене и вытянувшись вдоль фасада ложи, так и сидел все время спектакля, корча карикатурные физиономии, долженствовавшие изобличать в нем истинно светского человека. Из публики на него смотрели, и Шацкий был удовлетворен: Петербург его видит.

– Да, мой друг, – говорил он, – это не так легко, и не одно поколение нужно, чтоб сделаться порядочным человеком и не чувствовать стеснения... Вот так...

И Шацкий, забросив ногу за ногу, вздернув свою всегда коротко остриженную голову, смотрел куда-то поверх партера. Карташев тоже выглядывал из-за занавеса ложи на публику и смотрел смущенно, с какой-то затаенной тоскою человека, которому почему-то не по себе.

– Скучно здесь, Миша.

– Едем – итальянку посмотрим.

Поехали и там взяли ложу. Увидел Карташев итальянку. Она скользнула по нем глазами, узнала его, и взгляд ее совершенно ясно сказал Карташеву, что она в это мгновение взвешивала его денежные шансы. Карташев подумал: «Если мне дома надарят денег, я сошью себе платье у лучшего портного, и она будет моя».

Будет костюм, будут деньги, и сомнения нет, что итальянка его: без всякой идеализации, правда, но это прекрасное тело все-таки будет принадлежать ему, и этим путем он доберется и до того, что светилось иногда в ее глазах, доберется до той чистой, изящной, идеальной женщины, которая непременно должна быть в этом прекрасном теле...

И оба – Шацкий и Карташев – говорили о лучших портных, о том, какие платья необходимо иметь порядочным людям: прежде всего фрак, затем сюртук и какую-нибудь визитку. Шацкий, изложив свои соображения, когда именно порядочные люди надевают то или другое платье, удовлетворенно замолчал и вдруг, точно вспомнив, прибавил:

– Мало этого... она заехала к нам: в чем ты ее встретишь? – пиджак... А-а! c'est grave.³⁴

После театра друзья поехали ужинать. После ужина Шацкий вынул свой набитый деньгами бумажник и, бегло пересчитав деньги, сказал:

– Итого сегодня: восемьдесят семь рублей...

– Четыре месяца жизни для бедного студента, – проговорил Карташев.

– И один день для порядочного человека, – перебил Шацкий. – И, в сущности, ничего особенного... Из этого ты видишь, мой друг, сколько нужно, чтобы быть порядочным мальчиком... А для Васи все, конечно, ничего: надел свой сюртук и думает, что уж совершил в земном все земное... Запиши-ка к себе сорок три рубля пятьдесят копеек, а всего с прежними девяносто шесть тридцать...

³⁴ это важно (франц.).

XXV

Взяв у Шацкого на дорогу еще тридцать рублей, с даровым билетом, за которым, впрочем, надо было заезжать в Москву, Курск и Киев, соответственно с тем, где находились правления дорог, по которым приходилось ехать, Карташев через несколько дней отбыл на родину.

Его поездка обратилась в целый ряд приключений. В Москве он натолкнулся на два праздника подряд, и правление Московско-Курской дороги оба дня было закрыто. В ожидании билета Карташев прожился и, чтобы ехать дальше, должен был продать последние остатки великой армии, то есть остатки всего того, чем так обильно снабдила его мать в прошлом году.

В Курске пришлось расстаться даже с подушкой и одеялом, которые он тут же на вокзале и продал, а в Киеве он продал и чемодан за два рубля, правда пустой, но стоивший двенадцать рублей.

В одно прекрасное утро, после шестидневного переезда, Карташев доехал наконец до родного города. Радости при встрече не было конца: правда, он приехал, не имея в руках даже самого скромного намека на багаж, приехал после годовой разлуки, точно вот уезжал куда-нибудь ненадолго в город, но приехал студентом первого курса самого трудного заведения, и шапка этого заведения была на его голове. Он приехал утром, и ему подали тот самый граненый громадный хрустальный стакан, то кофе, которое нигде так не приготавливалось, те же сливки и ту же большую двойную просфору, все то, что он так любил, что было так вкусно здесь на родине, как нигде в другом месте.

Мать, дядя, Наташа, Маня, Аня, Сережа сидели вокруг стола, смотрели на него и не могли насмотреться. Тёма вырос, похорошел, пробиваются усы и борода, голос совсем переменялся. И Карташев чувствовал, как он переменялся; ему казалось, что все в нем так переменялось, точно он и самому себе стал совсем чужой. Аглаида Васильевна смотрела, читала его мысли и улыбалась счастливой, удовлетворенной улыбкой умной матери, наблюдавшей своего потерявшего вдруг самого себя сына: завтра он опять будет такой же, совершенно такой Тёма, каким и был, да и сегодня он такой же.

– Где же вещи твои?

Карташев глотнул кофе и, бодрясь, ответил:

– Да я так, налегке.

– Без подушки даже?

– Собственно, подушка что ж? не стоит...

– Да как же ты спал?

– А положу голову на выступ скамейки и сплю или кулак подложу... В нашей инженерной специальности то ли выносить придется...

– Неужели и белья не взял?

– То есть я, собственно, взял, но пошел на одной станции поесть, прихожу: нет вещей... стащили.

Дядя затыкнулся и сказал:

– Слава богу, что хоть тебя не стащил никто...

– Извозчик денег просит, – заявила, войдя, горничная.

Карташев смущенно-весело похлопал себя по карманам и проговорил:

– Мелких нет...

– Нет? А крупные? – переспросил его же тоном дядя.

Карташев рассмеялся.

– И крупных нет.

Мать отсчитывала мелочь.

– Не в деньгах, брат, счастье... – сказал дядя, – и табаку, наверно, нет... кури.

Дядя подсунул ему свою табачницу.

Карташев как-то уже забыл, что он бросил курить, и, вспомнив теперь, вспыхнул от удовольствия.

– Не курю...

Это заявление произвело громадный эффект: это было что-то, с чем можно было уже считаться. Не всякий может бросить курить.

Аглаида Васильевна горячо расцеловала сына.

– Лучшего подарка ты не мог мне сделать...

– Молодец, молодец, – твердил дядя, – это, брат мой, характер и характер нужно... Молодец...

Карташев сразу вырос в глазах всех. Он ушел, сопровождаемый молодежью, в свою комнату, а Аглаида Васильевна перебралась с братом несколькими радостными замечаниями. Ее брат затягивался, качал головой и повторял:

– Молодец, молодец... способный, с характером... громадную карьеру сделает.

Карташев возвратился и по лицам матери и дяди угадал, что речь, и благоприятная, шла о нем. Мать молча опять расцеловала его и в глаза, и в губы, и в лоб, и в волосы. Карташев ловил ее руки и с удовольствием целовал их.

Мать ушла и возвратилась с сотенной бумажкой.

– Это тебе за первый курс.

Дядя ушел и вернулся с двумя выигрышными билетами.

– А это вот от меня.

– О-го-го!

Карташев опять горячо расцеловался с матерью и дядей.

– Молодец, молодец, в наш род пошел... это хорватовская черта: не удалось в университете – в институт.

У Наташи глаза точно еще больше стали: черные, большие, задумчивые; немного поухудела, и кожа точно прозрачная, матовая; черные густые волосы еще ярче оттеняют красивый, строгий овал лица. Ходит за Тёмой; когда говорит он – подожметя и слушает внимательно, серьезно.

– Что с Горенко? Давно ты видел ее? Отчего она писать перестала?

Карташев рассказал о Горенко, об Иванове и Моисеенко и сообщил о том, что держал себя в стороне. Мать перекрестилась.

– Да ведь это и ни с чем не сообразно бы было, – сказал дядя, – если бы человек с такими способностями, как ты, вдруг на детский разум перешел.

Карташеву стало неловко от этих похвал, и он озабоченно произнес:

– Увлекаются, конечно... Дети...

– Преступные дети, – с ударением, строго заметила Аглаида Васильевна, – сами гибнут и семьи свои губят.

– Отчего же у тебя переписка с Горенко прекратилась? – спросил Карташев Наташу.

Наташа посмотрела на мать.

– Она звала меня в Петербург, я писала ей, что мама не пускает меня, она больше и не отвечала.

Наступило неловкое молчание.

Аглаида Васильевна, облокотившись, смотрела, опустивши глаза, на скатерть.

– Тёма, – проговорила она, – ты уж большой и видел Петербург: твое мнение какое – можно ехать Наташе?

Наташа радостно встрепенулась.

Карташев хотя и любил Наташу больше других сестер, но жизнь с ней в Петербурге не улыбалась. Затем выступили и другие соображения. Хотелось и Аглаиде Васильевне доставить полное удовольствие и еще больше вырасти в ее глазах.

– Я нахожу неудобным, – сказал он.

– Брат говорит! – торжественно произнесла Аглаида Васильевна.

Наташа с разочарованием посмотрела на брата.

Карташев, сперва смущенно, а потом оправившись, начал приводить доводы, почему именно неудобно ехать Наташе. Он не хотел, конечно, врать, но хотел быть убедительным. Мать внимательно слушала и изредка убежденно, серьезно говорила:

– Совершенно верно.

Дядя энергично тряс головой и говорил:

– Очень дельно.

Наташа сначала возражала, но брат стал приводить какие-то факты и убеждал с ласковым упреком:

– Наташа, я же знаю и говорю то, что есть...

Наташа наконец с своей болезненной гримасой, махнув рукой, проговорила:

– Я не знаю, какие там, но я знаю, кто я...

– Нет, ты слишком молода, чтобы знать себя, – возразила мать.

– Ну, не знаю, – развела руками Наташа и замолчала.

Карташеву жаль было Наташу, и он старался быть с ней особенно ласковым и внимательным. Легкой тучкой набежавшее было сомнение относительно брата быстро исчезло, и Наташа думала: «Что ж, если это его убеждение? Он любит меня и, конечно, желает добра», – и она была с братом нежна и ласкова. Они ездили вместе по магазинам. Тёма купил ей духов, накопил подарков и остальным сестрам, брату купил большой перочинный нож, взял ложу в театре, катался с родными на лодке.

– Какой Тёма стал любящий, ласковый, – говорила Аглаида Васильевна.

Пять дней – а только на пять дней и приезжал Карташев – пролетели быстро.

Был Карташев и у Корневых. Говорил с Маней о прошлом, заглядывал в ее будущее, рисовал ей, как она выйдет замуж, в каких дворцах будет жить, просил позволения и тогда быть ее другом. Оба весело смеялись, и Карташев краснел, всматриваясь в ее ласковые карпе глазки, в ее шейку, такую же белую, какой была она, когда в первый раз он увидел ее гимназистом. Теперь и шейка и вся она, Маня, была еще красивее, сильнее тянула к себе, без боли, как красивая картинка, прекрасный пейзаж. Наклонился бы, поцеловал это белое плечико и почувствовал бы сильнее прелесть дня, радость жизни, свою и ее молодость... И казалось Карташеву, что она ответила бы тем же или, по крайней мере, поняла, что влечет его к ней. Засыпая, он думал о Корневой... Прекрасная, стройная, она была где-то близко-близко, он чувствовал ее дыхание, ее голос, взгляд – влажный, жгучий, чудный, как лучшее из всего, что есть на свете. Жениться, увезти ее с собой? Карташев задыхался при мысли о таком блаженстве и долго ворочался под одеялом.

Опять отъезд и проводы. Дали денег на всю дорогу без вычета за билеты, дали на лекции и за лекции, снова нашили всего, кроме платья, на которое дали тоже денег, чтобы заказал его по последней моде в Петербурге.

Карташев признался, что вещи свои, в сущности, заложил я продал, рассказал, как ехал домой. Аглаида Васильевна больше всего жалела о подушке:

– Лучшую тебе дала...

Крестя и целуя сына, она говорила:

– Все-таки будь, мой дорогой, больше хозяином.

– Ты хоть подушку привези маме, – ласково говорила Наташа.

– Даю слово, подушку привезу.

Наташа ехала с братом проводить его к Зине в деревню. Хотела было ехать и Маня, но у нее уже начались уроки.

Маня стала красавицей в полном смысле слова, с смелым, живым взглядом. Из всех только она одна не выказывала уезжавшему брату почтения.

– Уедет опять мой голубчик, – говорила на вокзале Аглаида Васильевна, – улетит мой орел.

– А голубчик только и думает, мама, как бы ему поскорее уехать, – сказала Маня, кивнув пренебрежительно головой в сторону брата.

– Только и думаю, как бы уехать? – вспыхнул Карташев, – ну, так вот назло тебе сегодня и не поеду.

– Тащи вещи назад, – обрадовавшись, крикнул толстый Сережа и неуклюже, счастливый, потащил сам тяжелый чемодан брата к выходу, боясь, что тот передумает. Все были рады, все целовали Карташева.

– Едем в наш старый дом пить чай, – предложил Карташев.

Старый дом был недалеко от вокзала.

Осень была теплая, ясная; вечер тихий, прекрасный. Точно убаюканное, засыпало синее нежное море, нежный аромат последних осенних цветов разливался по пыльному саду. Вся семья собралась на террасе, пили чай, говорили, вспоминали прошлое, ходили по саду, заглядывали в старый колодезь, взбирались на беседку. Из-за ограды выглядывало то же кладбище, те же памятники, тот же сарай из серого темного камня. Камни на стенах еще потемнели, точно спаленные огненным солнцем: пыль так и осталась от лета и лежала толстым слоем везде – на солнечных часах, на статуях, на мраморных скамеечках. Желтые листья валялись по дорожкам такие же неподвижные и безмолвные, как эти статуи, скамьи, деревья и пыль лета, как то прошлое, что безмолвно, но сильно вставало и хватало за сердце. Все говорило еще об отце, все было делом его рук. Сколько пережито хорошего и дурного, каким длинным казалось тогда время и каким мгновением кажется теперь все промелькнувшее. Как сон какой-то, – действительно ли то было или только пригрезилось все то, что было.

– Слушай, Наташа, если хочешь, я поговорю с мамой, чтобы отпустили тебя в Петербург, – говорил Карташев.

– Мама не послушается тебя, только расстроишь...

– Собственно говоря, ведь не стоит, Наташа...

– Это... Довольно об этом...

На другой день Карташев уехал, увозя с собой память о любви и ласке всех близких, и всех ему было так жаль.

В усадьбе у Зины Карташев провел всего день. Зина ходила в ожидании ребенка, обрадовалась брату и была с ним очень ласкова. Мужа ее не было дома. Зина ни одним словом не обмолвилась о своем житье-бытье с мужем и, когда речь заходила о муже, делалась сосредоточенной и серьезной. Карташев кое-что слышал от сестер и матери и не хотел расстраивать сестру расспросами. Он делал вид, что ничего не знает, и гулял с Наташей и Зиной по богатым комнатам ее мужа, по парку, рассказывая о своей петербургской жизни.

Поезд уходил на рассвете. Под вечер Карташев выехал от сестры, оставив у нее Наташу. Зина на прощанье сунула ему в руку пачку денег. Карташеву странно было брать от сестры деньги, но та добродушно-решительно проговорила:

– Бери, бери... Может быть, со временем отдашь, – пригодится больше, может быть, тогда...

Какое-то пренебрежение, сожаление, горечь послышались в голосе Зины; она быстро обняла брата и вдруг заплакала. Но сейчас же вытерла слезы и с улыбкой, стыдливо показывая на свой живот, проговорила:

- У меня теперь глаза на мокром месте... ну, прощай.
- Как ты мне папу напомнила в эту минуту...
- Да, говорят, что я все больше делаюсь похожей на него... Скоро умру...
- Ну, что ты!
- Поезжай, поезжай...

Зина, ласково поцеловав еще раз, повернула его к экипажу.

- Прощайте, прощайте...

Карташев, стоя в легкой щегольской коляске, махал своей путевой фуражкой сестрам, а сестры махали ему платками, подвигаясь медленно вперед к воротам, пока экипаж не скрылся.

Карташев перестал махать, уселся поудобнее и задумался: о Зине, о Наташе, о матери. Затем, вспомнив о подарке сестры, вынул бумажник и насчитал пятьсот рублей... Еще никогда в жизни у него не было в руках такой суммы!

Сытые, крупные лошади бежали легко и весело среди пустых полей. В бархатной безрукавке молодой кучер Семен лихо правил, покрикивал, и рукава его малиновой рубахи раздувались от встречного ветерка.

Да теперь и сам Шацкий, увидев Карташева, остался бы доволен.

– А что, Артемий Николаевич, – повернулся Семен, – хочу я вас везти на Кривозерни... Бывали там?

- Нет... а что?

Семен помолчал.

– Дорога лучше... Чаю там в корчме можно попить... Дочка у жида хороша, так хороша, и сказать нельзя...

Семен оглянулся и задорно посмотрел на Карташева.

Карташев смущенно улыбнулся.

- Поезжай как хочешь.

- Рахиль зовется...

Семен еще раз повернулся и так усмехнулся, точно он бросил волчонку кусок сырого мяса и смотрел, как угрюмый до того волчонок принялся ласково лизать знакомое ему блюдо. Семен вырос на барском, да еще на гусарском дворе: не давал маху Неручев, не даст, видно, и этот женин брат... Все они, господа, на этот счет хорошо обучены...

Карташев увидел мрачную корчму с высокой соломенной крышей, когда солнце уже почти село, когда густая длинная тень от корчмы спустилась на площадь и закрыла ее почти всю.

Карташев сразу угадал Рахиль. Она стояла у ворот и небрежно, рассеянно грызла семечки. Ее красивые, правильные, с оттенком пренебрежения глаза скользнули по Карташеву. На плече рубаха была порвана, и оттуда сквозило нежное, белое тело. Об этом нежном теле говорила и шея, белая как снег, там, ниже, у ворота рубахи, и там, где каштановые волосы с золотистым отливом, слегка волнистые, падали на плечи. Рахиль не обращала никакого внимания ни на прореху, ни на свой грязный костюм. Она и в нем была прекрасна, стройна и обворожительна. Яркая, с нежными и тонкими очертаниями лица, она стояла, как сказочная принцесса. Этим сказочным охватило Карташева, он смотрел на нее из экипажа и любовался ее нежной красотой. На этот раз он совершенно не чувствовал обычного смущения. Он подошел к ней свободно, уверенно, с тем особым выражением лица и глаз, которое смутило девушку, и когда она вторично остановила свой взгляд на нем, сердце Карташева сладко замерло.

- Рахиль, можно у вас напиться чаю? – спросил он.

Рахиль смущенно отстранилась и тихо, едва слышно произнесла:

- Идите...

Оба скрылись в темных воротах. Во дворе из-под высоких навесов несло громкое хрустение лошадей, евших сено, звенели удила, несло прохлада осеннего теплого вечера. Там и сям в полумраке навесов пробивался из крыши красный свет багряного заката.

Рахиль вошла в высокую потемневшую залу корчмы. В углублении виднелись двери, стояли какие-то станки, большая лежанка выдвигалась от печки, но окна корчмы были малы и высоко подняты над землей, так что в них был виден лишь кусок вечернего неба. Кот спрыгнул откуда-то и лениво, уверенно подошел мягкой поступью к Карташеву. Рахиль стояла посреди залы вполуборот к Карташеву и смотрела в него.

– Хочешь здесь? – спросила она пытливо, сдержанно.

Что-то такое было в ее голосе, слегка картавом, певучем, как струны какого-то инструмента, что Карташев ласково спросил:

– А разве лучше чего-нибудь нет?

Рахиль улыбнулась, сверкнув жемчужными зубками, и ее розовые маленькие губы раскрылись, точно готовые уже для жгучих поцелуев.

Карташев, охваченный незнакомой ему решимостью, подошел в шжал ей руку. Рука была маленькая, нежная. Тонкая кожа лица ее вспыхнула, она слегка отвернулась и, словно не замечая, смотрела в окно.

Красный свет заката падал на нее. Она точно думала или вспоминала о чем-то. Легкое напряжение, смущение чувствовались в ней; какая-то сила и в то же время и мягкость, и беззаветная удаль – все охватывало страстью Карташева.

Он поднес ее руку к своим губам. Новая краска залила лицо девушки. Он обнял и поцеловал ее. Она все стояла, как скованная... Он повернул к себе ее лицо, и она покорно посмотрела в его глаза своими намагнетизированными глазами.

Он медленно, страстно впился в ее полуоткрытые нежные губы.

Голова Рахили слегка опрокинулась, она сделала губами какое-то движение и точно пришла в себя.

– Довольно... ты как сумасшедший...

Карташев стал целовать ей руку, а Рахиль опять стояла и смотрела, как он целует.

– Моя рука грязная, – сказала она.

– Ничего, – продолжая целовать, упрямо ответил Карташев.

– Отец идет!

Рахиль отскочила одним прыжком и уже стояла чужая, потухшая, с холодным, пренебрежительным видом.

Вошел еврей с длинной бородой и подозрительными глазами. Он осмотрелся и заговорил тихо, ворчливо что-то по-еврейски. Она тоже что-то ответила, и некоторое время между ним и дочерью происходил оживленный разговор. Затем он смолк и тихо, подозрительно спросил Карташева по-русски:

– А чем эта комната не хороша?

Рахиль смотрела на Карташева молча. Карташев, угадывая что-то, ответил небрежным, избалованным тоном:

– Не нравится, и конец. Большая, грязная...

Рахиль удовлетворенно перевела вопросительный взгляд на отца. Отец, избегая взгляда и ее и Карташева, развел руками и повернулся к двери, процедив что-то сквозь зубы.

Когда дверь затворилась, Рахиль лукаво посмотрела на Карташева.

– Ты умный... – сказала она.

Карташев на этот раз сильно и смело обнял Рахиль и несколько раз, запрокинув ей голову, поцеловал ее в губы.

– Ну, – вздохнула Рахиль и, оправив волосы, сказала весело: – Иди за мной...

Они опять направились по коридору и в самом конце его вошли в красивую, нарядную комнату.

Здесь было дорогое, оригинальное убранство, не имевшее ничего общего с остальной корчмой.

– Откуда такая комната? – спросил Карташев.

– Старый скоро будешь, когда все захочешь знать. Не целуй меня теперь! Когда все заснут, я оденусь и приду к тебе... Тогда смотри на меня... и целуй, если хочешь.

– Одевайся для других, а для меня ты и так прекрасна...

Она заглянула в глаза Карташева, подумала и поцеловала их.

– Это чтоб другие тебя не любили... – На мгновение она замерла в его объятиях, опять вырвалась и спросила: – Да откуда ты взялся? Кто ты?

В коридоре послышалось шлепанье туфель.

– Самовар? – переменяя тон, как бы спросила Рахиль уже на ходу и скрылась в коридоре.

Карташев слышал какой-то вопрос еврея, обращенный к ней, ее ответ, небрежный, быстрый, на ходу. Затем все смолкло, и только лошади где-то далеко продолжали свою мерную работу челюстями.

Карташев открыл окно, и свежесть осеннего вечера с каким-то ароматным настоем лета ворвалась в комнату. Карташев лег на низкую, мягкую, красиво застланную кровать и, закрыв глаза, забылся в сладкой истоме.

Нигде, ни в каком уголке его сердца не было фальши, напряжения, сомнения ни в отношении Рахили, ни в отношении всей этой оригинальной обстановки.

Он, может быть, и догадывался, что тут не обошлось без Неручева, но какое ему дело? Все шло само собой, и все было так прекрасно, как никогда не было с ним с тех пор, как он на земле.

Рахиль подала самовар, подала булку, еще что-то принесла, еще раз поцеловалась и, шепнув: «Приду нарядная» – скрылась.

В комнату вошел Семен, мотнув утвердительно головой по направлению коридора, и проговорил:

– Хороша!.. Черт, а не девка... – Он оглянулся. – И убранство какое... Деньги б были – уберешь как захочешь, – покорно прибавил он со вздохом. – Выпить охота, – сказал Семен уже другим тоном.

Карташев быстро вынул трехрублевую бумажку и сунул ему в руку.

– Ну, покорно благодарим... Бывало, в холостых наш барин были, и перепало же нашему брату, – подмигнул Семен. – А теперь: «Зиночка да Зиночка», – а уж этого самого и нет...

Он кивнул пренебрежительно головой, потоптался и вышел.

Фамильный тон Семена тяжело резал непривычный слух Карташева, но опять вошла Рахиль, счастливая, сияющая; она бросила лукавый взгляд на него и стала рыться в комод.

У Карташева сразу просветлело на душе, он хотел было подойти и обнять ее, но, заметив ее протест, удержался. Забрав какие-то вещи, она еще раз оглянулась и скрылась.

Время томительно и медленно тянулось в холодной тишине темной звездной ночи. Потемнела площадь, все местечко; где-то далеко-далеко в поле, как свечка, горел огонек костра. Громко стучит сердце. Сонная муха жужжит и бьется где-то над головой. Изредка звякнет повод сонной лошади, и опять все стихнет. Тихо, но в то же время и шум какой-то, точно беззвучно где-то ходят вблизи...

Дверь скрипнула, и легкая, светлая тень скользнула в комнату. Карташев чиркнул спичкой и зажег свечу. Нарядная, в дорогом восточном костюме, стояла перед ним Рахиль. Теперь ее манеры, поза, стройная фигура, непринужденный взгляд – все еще сильнее говорило о том, что это не простая еврейка.

Он бросился к ней и покрыл ее лицо поцелуями. Она ловила его поцелуи и шептала упрямо, настойчиво:

– А если я задую тебя?

– Души...

– А завтра ты на меня и смотреть не захочешь?..

– Убей тогда.

– Не-ет! – рассмеялась она. – Завтра ты будешь любить меня больше...

– Да, да... – страстно шептал Карташев.

– Ты уедешь завтра!..

– Мы уедем вместе...

Глаза ее сверкнули счастьем, раскрылись и сожгли Карташева. Она нежно водила руками по его волосам, то гладила их, то брала в обе руки его лицо и старалась разглядеть его глаза.

– Потуши свечку...

Время летело. Полосы света тянулись по далеким крышам, осветилась часть неба, обрисовалась громадная, холодная тень корчмы; взошла луна.

– Скоро будет светло, как днем, – проговорила Рахиль, – а потом и день будет: ты уедешь...

Карташев, пьяный от любви, сонный уже, говорил:

– Мы вместе уедем... Теперь ты моя... Ты не жалеешь?

– Зачем жалеть? Хочешь, в степь пойдем?

Через окно они вышли на площадь и, обогнув дом, пошли в степь навстречу поднимающейся луне.

То была пьяная луна, пьяная ночь, пьяная ароматная степь.

На душистом сене они сидели обнявшись, и Рахиль дремала на плече Карташева. Он тоже дремал, чувствуя в то же время ее всю, чувствуя аромат и жуткую прохладу безмолвной лунной ночи...

– Скоро уж день! – грустно напомнила Рахиль.

Карташев спохватился, проснулся весь и начал страстно целовать ее. Рахиль отвечала нехотя, но было что-то, что говорило, что она хочет, чтобы ее целовал этот откуда-то взявшийся юноша, целовал сильно и страстно. И опять опьяненные, они забыли все на свете.

Ушла далеко в небо луна и, увидав вдруг на горизонте бледную розовую полоску, точно растерявшись в своей высоте, сразу потеряла весь свой волшебный блеск.

Еще тише, еще ароматнее и свежее стало кругом. Краснеет полоска, и точно сильнее темнеет округ.

Тяжело вставать с душистого сена, тяжело терять последние мгновения и страшно дольше оставаться вдвоем: вот-вот проснутся.

Испуганная, нежная, смущенная, Рахиль смотрела и смотрела в глаза Карташева. Куда девался ее задор, хотя все так же прекрасна она. Карташев хочет насмотреться на нее, но сон сильнее его, и не одна, а две уже Рахили перед ним, и обе такие же красивые, нежные...

– Спишь совсем...

Нежный упрек Рахили ласково проникает в его сердце, он опять обнимает ее, но она тоскливо, чужим уж голосом говорит:

– Пора...

Еще не взошло солнце, не рассвело как следует, а уже звякнул колокольчик и разбудил мертвую тишину сарая. Еще немного, и зазвенел колокольчик по площади, по сонным улицам местечка, потонул и замер в неподвижной степной дали.

Мягко и плавно катится по дороге легкий экипаж. Что-то мучит Карташева, какая-то грусть закрадывается в сердце. Думает и думает он, что за человек Рахиль, а сон сильнее охватывает, легкий ветерок гладит его лицо и волосы. Качается его голова из стороны в сторону.

Слышится ласковый, певучий голосок Рахили, сидит он с ней, она гладит его волосы и напевает ему какие-то ласковые, нежные песни.

«Рахиль», – проносится где-то, несется дальше, звенит под дугой, разливается и охватывает его непередаваемой негой чудного, как сон, воспоминания.

Вот и станция. Семен осадил лошадей. Поезд подходит. Спит Карташев.

– Артемий Николаевич! – окликнул его Семен.

Карташев открыл испуганные глаза.

– Где мы?

Семен усмехнулся:

– Рахиль все снится...

Карташев быстро выскочил из экипажа.

– Семен, больше ни слова о Рахили.

Он сунул ему еще три рубля и пошел на станцию. Станционный сторож понес за ним вещи, и они оба скрылись за большой дверью.

Семен сидел на козлах и смотрел вслед Карташеву. Лицо его было насмешливое и злое.

«Больше ни слова... так, так... – думал он, – ловко я тебе, дураку, пыли пустил: „Зиночка, Зиночка...“ – да, держи карман, таковский. Ну, да теперь-то вы и без Зиночки породнились».

Семен презрительно сплюнул и тронул лошадей.

XXVI

В одном из ночных притонов, куда как-то попали Шацкий, Карташев и их новый приятель Повенежный, Карташева остановила с теми же бархатными глазами Верочка. Она побледнела, похорошела, скромное платье придавало ей вид порядочной девушки.

– Вы, пожалуйста, не думайте, что я тоже... я певица, – сказала она Карташеву.

– О! и знаменитая певица! – поддержал ее Шацкий.

Верочку познакомили с Повенежным, и приятели увезли ее в один из татарских ресторанов. Друзья поили ее вином, а она пела им песни своего репертуара. После ужина Верочка потребовала, чтобы Карташев проводил ее домой. Она была прежняя Верочка, и по-прежнему Карташева и тянуло и отталкивало от нее. Но, польщенный требованием Верочки, поощрением товарищей, он поехал с ней.

XXVII

Своим чередом читались в институте лекции, и профессора со своими слушателями уходили все дальше и дальше в дебри все больше и больше непонятных функций, производных, всех этих бесконечно малых и больших величин. Лекции старого профессора казались легким рассказом перед всей этой тарабарщиной, которой сыпали профессора, исписывая ею громадные доски. И все это надо было знать и в свое время на экзамене также без запинки выписать на этих же досках.

Кроме лекций, надо было работать практически. В громадных чертежных толпились постоянно народ, и, таким образом, характера театра, как было в университете, где, прослушав лекцию, не было предлога торчать в заведении, здесь не существовало. Могли оставаться, кто сколько хотел: приходили, уходили и опять приходили от девяти до трех часов, а кто хотел, тот мог заниматься и вечером. Все это давало возможность быстрее и теснее сблизиться друг с другом. Были и здесь кружки всяких оттенков, но масса в общем являлась довольно однородной – практической в своих увлечениях, больше склонной в сторону брожения сердечного, чем умственного. К последнему громадное большинство относилось равнодушно. К брожениям же чувства, если оно проявлялось даже в несимпатичной форме фатовства, относились снисходительно и терпимо. Молодые фаты ходили в коротких куртках, в узких в обтяжку штанах, из бокового кармана которых иногда торчал шнурок табачницы. Они носили на носу пенсне, говорили в своей компании друг другу «ты» и вообще старались держать себя, как держатся, например, воспитанники кавалерийских училищ. Только небольшая кучка студентов, под кличкой «красные», протестовала против таких и презрительно называли их «охлажденными». Иногда протест со стороны красных принимал очень резкую форму. Так, Повенежного, явившегося однажды в каком-то модном пиджаке, с бриллиантами в галстук и на пальцах, когда он спускался по лестнице, компания красных освистала.

Повенежный шел с Шацким красный, смотрел своими блестящими, ничего не говорившими глазами, улыбался и шептал ему:

– Я, кажется, доставляю им маленькое удовольствие... Очень рад.

Карташеву очень понравилось отношение Повенежного к демонстрации, и он говорил Шацкому:

– Чтоб так поставить, нужно, во всяком случае, мужество – не бояться того, что скажут.

– *Que dira le monde?*³⁵ Да, да, это верно: мужество стоять у позорного столба, сказал бы Вася.

«Поставить» на местном жаргоне Шацкого и Карташева значило поступить не стеснясь, эффектно: Альфонс явился где-то в гусарском мундире – Альфонс «поставил». Патти уехала с Николини – Патти «поставила».

«Охлажденные» с инстинктом более слабого зверя благоразумно избегали всяких столкновений с красными – не хотели, не умели и не понимали даже постановки вопросов со стороны этих красных. Просто боялись и думали, что от одного разговора с ними они уж навсегда потеряют репутацию порядочных, воспитанных «мальчиков», как говорил Шацкий. В лице Карташева «охлажденные» неожиданно получили надежное и сильное подкрепление.

Карташев видал виды, в гимназии сам считался красным, считал себя хорошо осведомленным по всем вопросам. После возвращения из дому он с особенной энергией отрекся от всех своих прежних, как он их называл, «фантазий». Он считал всех этих красных мальчишками, а себя человеком, уже поднявшимся на высшую ступень человеческого самосознания. И его коробило и раздражало, что эти мальчишки не желали сознавать своего мальчишества, и

³⁵ Что скажет свет? (франц.)

мало того что не желали, даже еще чувствовали какую-то почву под ногами, раздражали своим всегда удовлетворенным, самоуверенным видом.

«Какие-то животные, идиоты», как представлялись кружку передовых все эти Повенежные, Ларио, Шацкие, сам Карташев и множество других, – вся та масса, которая составляет толпу, решительницу всех дел, – для Карташева не были ни животными, ни идиотами: он был плоть от плоти, кровь от крови этой толпы. И это давало ему ту открытую силу влияния, которой не имели его противники.

Приближалось время бала, который давал ежегодно институт в пользу своих недостаточных студентов. Шли горячие споры, где быть балу: в самом институте или в Дворянском собрании.

На сходке, назначенной по этому поводу, Карташев горячо говорил:

– Их цель, – он показал на Красовского, – устройством бала вне института втянуть нас в беспорядки... Туда к нам ворвется вся эта толпа бунтующих, устроят все по-своему, и, если бы даже мы и были ни при чем, они в наш счет наделают столько скандалов, что и мы будем скомпрометированы, а нашим красным ведь этого только и надо. Им это надо, а нам надо спасти честь нашего заведения, и поэтому я высказываюсь за вечер в институте.

Молодой, красивый студент Красовский, с карими горячими женскими глазами, предводитель своей партии, в малороссийской рубашке, с ненавистью и презрением слушавший Карташева, овладев собой, заговорил мягко и вкрадчиво:

– Но ведь если говорить о скандале и желать его, то ведь, Карташев, его можно сделать везде...

– Нет! Стены этого здания удержат вас от скандала!

– Карташев, – с ласковым ехидством спросил Красовский, – как эти стены, сделанные из камня, песку и извести, могут удержать кого-нибудь?

– Нет, нет, вы оставьте эту детскую игру слов, – вскипел Карташев, – ею, Красовский, в четвертом классе мальчишки стараются наповал убить своих врагов, и если вы до сих пор не научились понимать фигуральных выражений, то ради этого я не буду отвлекаться от существа спора.

– Ну, хорошо, – усмехнулся Красовский. – Будем стоять на существе: какая цель нашего вечера? Я думаю, не столько самим веселиться, сколько собрать побольше денег для своих бедных товарищей. Так?

– Так.

– Я думаю, в Дворянском собрании мы больше соберем, чем здесь.

– Ну, положим, – возразил кто-то из толпы, – в институте мы денег соберем больше: одни почетные билеты дадут нам больше, чем весь сбор в Дворянском собрании, а почетных в Дворянском может и не быть...

– В Дворянское собрание не поедет никто из почетных! – крикнул другой.

– Конечно, в нашем институте сбор будет больше, – раздалось несколько голосов.

Выдвинулся Повенежный. Он стоял боком, с засунутыми в карманы руками, дрыгал ногой и поводил с презрением своими навывкате глазами. Он, с особенным подчеркиванием растягивая слова, проговорил:

– И надо цены на все билеты назначить, по крайней мере, по пяти рублей, чтобы быть гарантированными в порядочной публике.

– Но тогда нас и за студентов никто не будет считать, – ответил Красовский.

– И не надо...

– Вам не надо, а мы говорим обо всех.

Повенежный, фыркнув, круто отвернулся от Красовского и посмотрел на Карташева.

– Конечно, – уклончиво согласился Карташев.

Поднялся крик и споры, каждый говорил свое.

– Карташев, – заговорил, пользуясь общим шумом, с восточным акцентом черный большой студент. – Вы не помните меня, а я вас помню – мы вместе сидели с вами когда-то в гимназии: я Августич...

– Я помню вас.

– Если те не понимают, то вы понимаете, что делаете... Вы честный человек. Если вам дорога честь заведения, вы должны знать, что говорят о нем. Говорят, что у нас, если в одном конце чертежной кто-нибудь затынет: «На земле весь род людской», – то на другом конце непременно подхватят: «Чтит один кумир священный».

Все рассмеялись. Августич продолжал:

– В этом честь заведения...

Карташев перебил нетерпеливо:

– Да к чему все это? Ведь все дело сводится к тому, что везде беспорядки, а у нас их нет, и вам завидно, и вы как-нибудь хотите их создать, и это вам не удастся... И гимназия, где мы были вместе, здесь ни при чем: именно оттого, что я дурака валял тогда, я и не желаю теперь таким же быть... не желаю давать себя и других водить за нос...

– Послушайте, Карташев, – вспыхнул Красовский, – наконец и у нас же терпенье может лопнуть. Если вы нахально стоите на том, что мы хотим за нос кого-то водить, то ведь и мы станем утверждать то же: вы за нос водите! Вы морочите! Вы в каких-то непонятных целях драпируетесь в какие-то вонючие, скверные, негодные тряпки и уверяете и морочите нас, что это красиво, эффектно и, главное, искренне. Оставьте хоть это и позвольте, в свою очередь, сказать нам: морочьте других.

– Я не понимаю, на что вы намекаете?..

– На то же, на что и вы.

– То есть как?

Карташева вдруг охватило бешенство.

– Да думайте, что хотите!! Поймите, что я вас настолько презираю, настолько ненавижу... Поймите, что палачом я не был и не буду, и оскорбления палачей не могут достать меня!!

– Вот как?!

– Позвольте поблагодарить вас, – раздался за спиной Карташева чей-то голос.

Карташев повернулся. Перед ним стоял добродушный, любимый студентами старик директор, случайно попавший на сходку.

Карташев как ужаленный смотрел на откуда-то вдруг взявшееся начальство.

– Я совершенно с вами согласен...

Студенты, фыркая, стали быстро расходиться.

– Мне очень приятно, – продолжал между тем директор, – встретить такой светлый, такой зрелый взгляд на дело. Позвольте узнать вашу фамилию?

– При чем тут моя фамилия? – огрызнулся Карташев и бросился за другими к лестнице.

– Ну-с, господин искренний, не палач... – встретил его в дверях Красовский.

– Убирайтесь ко всем чертям! – крикнул ему Карташев, убегая по лестнице.

– В морду его, подлеца! – заревел вдогонку Августич.

Карташев уже летел обратно к Августичу вверх по лестнице с бешеным криком:

– Мерзавец!

Но в это время одни Карташева, другие Августича схватили за руки, и, затиснутые, они только издали, вырываясь изо всех сил, осыпали друг друга отборнейшей бранью...

Добродушный старик директор быстро пробирался за спинами студентов, делая вид, что ничего не замечает.

Вечер был отпразднован в здании института.

Фраков от Сарра на студенческих плечах было много, но студенчество остальных заведений блистало своим отсутствием.

Карташев был в числе распорядителей. Он отводил под руку почетных дам к их местам, танцевал до упада, ухаживал напропалую за всеми.

– Ах, какой милый! Какой красивый! – рассматривая его в лорнет, говорили пожилые дамы. – Очень, очень удачный вечер... С каким вкусом, тактом все устроено... Это молодежь наших времен...

– Надо непременно еще один бал... Как вы находите? – обращался энергичный, решительный генерал к дамам.

– О да, да... Charmant...³⁶

Директор среди наступившей гробовой тишины поздравил студентов с новым названием их заведения: «Институт инженеров путей сообщения императора Александра Первого».

– Ура! – задрожало в залах и неслось по лестницам громадного здания.

Бал затянулся до пяти часов. Без счета сводил Карташев по лестнице дам и девиц, укутывал их, нежно пожимал ручки, выскакивал раздетый на улицу, усаживая в сани гостей своей alma mater.

Самый тесный кружок студентов оставался еще долго, пили брудершафт, говорили о порядочности своего заведения, говорили о старинной дворянской крови.

Карташев, подвыпив, ехал на извозчике домой с Шацким и, охваченный вечером, говорил приятелю:

– Черт с ними: я сегодня раз десять влюбился... Господи, сколько красавиц на свете...

– Да, мой друг, тебя не хватит: ты и теперь уж на что похож...

– Завтра еду с визитами.

– А я завтра дарю свой фрак первому холую и засаживаюсь за занятия.

– Не говори о занятиях... Я в первый раз пьян: это очень приятно.

– Я не сомневаюсь, что из тебя выйдет пьяница.

– Нет, не выйдет... Денег, денег, Миша, где достать?

– Домой напиши...

– Напишу, что заболел: ведь все равно мне же, Миша, потом все достанется...

– Конечно.

– Миша, можно так полюбить, чтоб забыть все для любимой женщины? Если можно – стоит жить, нельзя – смерть сейчас... Говори: можно?

– Нельзя...

Они ехали по Фонтанке.

– Стой! – крикнул Карташев.

Извозчик испуганно осадил лошадь, и Карташев, быстро сбросив пальто, в одном фраке бросился к реке.

– Дурак! – закричал Шацкий и испуганно побежал за ним.

Карташев громко хохотал, стоя у перил.

– Миша, я забыл, что теперь зима: Фонтанка ведь замерзла...

Карташев с своей партией торжествовали победу над врагами, но громадный сбор с вечера тем не менее попал в руки противной партии, так как беднейшие все были там. Ни Карташев и никто из его партии не подозревал, что из этих бедных никто и не дотронулся до собранных денег и все эти деньги пошли на тех, кто был еще беднее, еще больше нуждался.

Бросив громадную подачку бедноте, Карташев и его компания считали себя вправе смотреть на эту бедноту как на благодетельствованную в некотором роде ими. Тем неприятнее было видеть с их стороны все ту же черную неблагодарность.

– Просто нахалы, – говорил огорченно Карташев.

³⁶ Очаровательно... (франц.)

XXVIII

Впрочем, вскоре институтские и денежные дела, и Верочка, и все новые знакомства – всё сразу вдруг отлетело на самый задний план в жизни Карташева.

.....

Сифилис! ко всему остальному.

«Вот я все думал, как это выйдет в жизни, а теперь все сразу знаю», – подумал Карташев. Он оделся, вышел из кабинета врача и, точно проснувшись, подумал: «Что такое я отвечал ему? Кажется, я много глупостей наговорил».

На мгновение мысль о глупостях изгнала все остальные, но сознание возвратилось, и у Карташева от ужаса не хватило воздуха, чтобы перевести дыхание.

Чувствуя, что что-то страшное охватывает его, с чем его воля может и не справиться, Карташев испуганно подумал: «Не надо ни о чем думать...» И он диктовал себе: «Вот я теперь иду, и больше ни о чем и не надо думать... иду... теперь пальто надено... надо дать на водку; „водки, Шацкий говорит, разорят меня...“ – не разорят, потому что скоро всему конец». Он вышел на улицу и сел в сани.

Но опять защемило и захватило в груди, и опять Карташев гнал страшные мысли и снова каким-то очень быстрым кругом возвращался к ним. То вдруг показалось ему, что все это случилось не с ним, а с другим, или с ним, но во сне, и так хотелось вдруг спать, лег бы на мостовую и заснул навсегда. «Слава богу, кажется, теперь без колебания покончу с собой. Револьвера нет: заехать разве и купить?»

Он не ответил себе на этот вопрос, потому что почувствовал, как все нутро его восстало против смерти. «Но что же делать? – тоскливо спрашивал он себя. – Неужели так жить?!» В ответ только уныло дул ветер, гнал по небу тяжелые свинцовые тучи, и они неслись беззвучно, угрюмо вперед.

Он приехал домой, вбежал по лестнице, чиркнул спичкой в неосвещенной квартире и увидел в зеркале отражение своего бледного лица. Спичка потухла, и осталось впечатление, что там, в зеркале, мелькнул страшный остов какого-то человека.

Холодный ужас сковал его члены, и опять сознание истины во всей ее ужасающей наготе охватило и проникло в его душу.

«Прочь, прочь отсюда! – паническим страхом выбросило его назад на лестницу. – Поеду в театр, условилась во фраке: три месяца еще ничего не будет заметно, а через три месяца смерть».

Карташев повеселел даже: три месяца! Много времени! Многие и до завтрашнего утра не доживут.

Он стал мыться, чистить зубы, чесаться и сосредоточенно одеваться.

Силы вдруг оставили его, и он, проговорив тихо: «Господи, что ж это?» – лег на кровать и зарыдал. Тяжелые судорожные вопли вырывались из груди, все существо его вздрагивало, и все новые и новые лились слезы. «Господи, что ж это?» – повторял он все ту же фразу, которая, как молотом, била туда, где был источник этих слез... Фраза перестала действовать, он лежал, закусив подушку, равнодушный, апатичный, спокойный.

Он встал и подошел к зеркалу.

«Волосы есть еще – густые, русые... глаза...»

Карташев показал себе зубы, стиснув рот.

«Может быть, кто-нибудь еще влюбится, а я мертвый уже. – Чужой в этом мире, гость на три месяца... Ну, и отлично: не надо ни о чем думать, не смей думать! Мертвецы разве думают?»

Он умылся еще раз, оделся, надушился, несколько раз растрепал и опять расчесал волосы, надел пальто и вышел на улицу.

В театре кончалось третье действие оперы «Ромео и Джульетта».

Ослепленный светом, во фраке, уверенно, с усвоенной уже манерой баловня судьбы, Карташев не спеша прошел в первый ряд и небрежно, не смотря на Шацкого, опустился в кресло. В это мгновение смутное удовольствие заключалось лишь в том, чтобы сильнее поразить Шацкого.

– Ну? – тихо, встревоженно спросил Шацкий.

Карташев спокойно-пренебрежительно назвал свою болезнь и, равнодушно подняв бинокль к глазам, начал смотреть на сцену.

Шацкий как сидел откинувшись вполоборота к Карташеву, так и остался, точно окаменел в своей позе.

Он усиленно мигал глазами и смотрел: смотрел на волоса Карташева, на его профиль, на то, как он держал бинокль; осматривал его костюм, ноги и опять, мигая, уставлялся в его лицо. Какое-то удовольствие, какой-то животный инстинкт самосохранения охватил его: не он, а вот этот болен. Он здоров и ни под каким видом не желает быть на его месте. Но затем ему стало жаль Карташева. Какое-то движение его руки, какой-то поворот сказали вдруг о его страданиях.

Шацкий ласково и тепло спросил:

– Тёма, правду говоришь?

Руки Карташева, державшие бинокль, дрогнули, и, прежде чем он успел вынуть платок, слезы закапали по его щекам. Карташев все смотрел в бинокль и незаметно стал вытирать слезы.

Шацкий как-то крикнул и отвернулся к сцене.

Действие кончилось. Успокоившийся Карташев равнодушно обводил глазами ложи, облокотившись о барьер. Горели огни театра и мягко тонули в тени прозрачной голубой обивки литературных лож. В ложах сверкали дорогие наряды дам, хорошенькие лица, в памяти еще сохранилось впечатление сада, фантастической ночи, красных, синих и белых огней, всего аромата нежной сцены объяснения в любви Ромео с Джульеттой. Жизнь и смерть были в душе Карташева, и он говорил, бросая отрывочные фразы:

– Ну, что ж, конец... и без меня будет театр и будет публика сидеть... весь этот блеск... а я буду в могиле...

Карташев оперся о барьер, вытянув далеко вперед ноги, скрестив их, и смотрел рассеянно по сторонам.

Шацкий залюбовался красивым и выразительным лицом Карташева, выражением его детски мечтательных острых глаз, его стройной фигурой. Он вздохнул и громко проговорил:

– А какой мальчик был! Немножко больше денег, и женщины всего мира были бы у его ног.

– Теперь, когда это все уж не мое, ты признаешь? – усмехнулся Карташев.

– Я всегда признавал.

– Но молчал...

– Мой друг, правду говорят только покойникам.

– Собственно, я имею шансик, – усмехнулся Карташев, – все сразу умирают, а я еще месяца два-три буду смотреть из-за могилы.

– И какой еще шансик! – весело подхватил Шацкий. – Нет, мой друг, ты настоящий джентльмен, был им всегда, таким и в могилу сойдешь...

– Спасибо... Я знаю, Миша, что и не джентльмен я, и не красавец, и вся эта наша жизнь ерунда сплошная, но на три месяца... Миша, стоит ли менять?

– Не стоит, и в твою память я всегда так буду жить.

– Вспоминай меня. Когда ты влюбишься, как тот Ромео в свою Джульетту, вспомни, что я мог бы так же любить, я, который буду уже прах времен. Прошли все: великие и малые, гении и дураки... Не все ли равно, Миша: тридцать лет больше, тридцать лет меньше?

– Все равно. А не напиться ли нам сегодня так, чтобы забыть все?

Карташев молча кивнул головой в знак согласия.

– Теперь я свободный дворянин и на все согласен... Одно обидно: глупо жизнь прошла... Разве поехать и убить Бисмарка? Я часто думал: кому нужна моя жизнь! Так, по крайней мере, память благодарного потомства заслужить хоть смертью. Если нельзя уже жить как должно, Миша, жить человеком, то хоть умереть человеком.

– Нет, оставим политику, мой друг, – поверь, что это глупо и недостойно джентльмена. Ну, что ж, едем? Черт с ним, с театром.

В этот вечер Карташев был пьян совершенно, но сознания все-таки не терял. Лежа в кровати, где его качало, как в самую злую бурю на море, он говорил:

– Миша, теперь я, как Жучка, в вонючем колодеце, и некому меня вытащить... да и не надо, Миша: жизнь такой вонючий колодец... Ведь это еще мы студенты, а дальше что? Миша, верно я говорю?

– Пошел вон!

– Миша, Рахили, одной Рахили жаль...

Карташев оборвался и, помолчав, прошептал сам себе:

– Хорошо, молчи.

Наступило молчание. С непривычки к вину их тошнило, и в темноте ночи их вздохи тяжело неслись по квартире.

Карташев не лечился.

– Я не хочу огорчать мать, – говорил он, – она и так меня не выносит, а там все-таки потом, когда все узнает... а может, не хватит и характеру сразу покончить с собой, но я измором возьму себя.

Он заставлял себя пить. Шацкий наотрез отказался составлять ему компанию, но Корнев в скромной обстановке всегда не прочь был уничтожить бутылку-другую пива.

Иногда, выпив, Корнев вдруг с удивлением спрашивал:

– Послушай, черт Тёмка, вот никогда не думал, что из тебя выйдет тоже пьяница. Ну, положим, я так: мой отец любил выпить, и дед любил, люблю и я. А ты? В кого ты?

Корнев ничего не знал о болезни Карташева.

– А почему и мне не пить?

– Ну, пей... А я буду, ох буду, как и батько, пьяницей... Вот кончим, в полк врачом поступим, во всем и всегда честь и место господину офицеру, а доктор так: фитюлька. И в собрании даже офицерском – Христа ради... где-нибудь в деревушке, в глуши... Соберу вокруг, как батько, компанию попов, и будем тянуть:

Со святыми упокой...

XXIX

Время шло. Каждый час, каждую минуту, даже во сне Карташев переживал все то же острое, мучительное сознание конца. Давила тоска, хотелось то плакать, то кричать, то просто забыться. Иногда он начинал лечиться и опять бросал.

– Эх! лучше всего в пьяном виде покончить с собой.

Он купил револьвер и постоянно носил его с собой. Пьяный, он вынимал его из кармана, смотрел, вертел перед глазами, примеривал его к виску.

– Тёмка, черт, что ты все с револьвером шляешься, – говорил ему Корнев, – уж не задумываешь ли что?

– Глупости: я никогда не лишу себя жизни...

– Почему глупости? Если б сила воли была – собственно, самое лучшее...

.....

В одно утро, когда Карташев бы еще в постели и обдумывал, как бы скорее довести себя до твердого решения покончить с собой, раздался звонок, и в комнату вошел его дядя.

Карташев и бровью не моргнул: он смотрел на дядю, как на что-то теперь уж не имеющее до него никакого отношения.

– Ты что ж, и здороваться не хочешь?

– Со мной нельзя целоваться, – отстраняясь, холодно ответил Карташев, – болезнь заражительна.

– Глупости...

И дядя звонко поцеловался с ним, по обычаю, три раза.

Карташев исподлобья следил за тем, какое впечатление производит его вид на дядю.

– Глупый ты, глупый – вот что я тебе скажу: никакой у тебя болезни нет; просто растешь... у кого из нас, мужчин, не было такой болезни?

– И у вас была?

– И у меня была.

– Как же вы лечились?

– Дал фельдшеру десять рублей.

Карташева раздражало раздражение: ему хотелось сразу осадить дядю.

– Хотите, выпьем?

Сердце дяди сжалось от предложения племянника.

– С утра я не привык пить, – потупился он.

– Напрасно... с утра лучше всего...

И с непонятным для самого себя раздражением Карташев подошел к столу и налил себе из бутылки большую рюмку водки. Выпив ее, он налил вторую и тоже выпил.

Дядя старался делать вид, что ничего особенного не замечает. Он только проговорил упавшим голосом:

– А вот для твоей болезни водку пить не годится.

Карташев молча закусил сардинкой.

– Мама вас послала направить меня на путь истины?

Дядя растерялся, покраснел и замигал глазами.

– Тёма, как тебе не грех, – за что ты издеваешься надо мной? – обиделся он.

Голос дяди задел Карташева и вызвал доброе чувство.

– Бог с вами, я и не думаю издеваться над вами... – ответил он смущенно.

– Издеваешься... надо мной, над матерью, издеваешься над всеми святыми...

– Дядя, голубчик, я не знал, что вы все уже святые... И не думаю издеваться.

– Издеваешься! Потому что ты эгоист, о себе только думаешь и не хочешь подумать, каково-то там отзываются все твои штуки... Ведь та-то, которая тебя на свой позор на свет родила, любит тебя не так, как ты ее; для тебя шутки, ты о ней и не думаешь, а я потерял голову; я оставил ее в кровати уже; кроме тебя, пять душ у нее, и никто не на своей дороге... Зина развелась с мужем... Грех, грех, Тёма!

Карташев сидел облокотившись и молчал.

– Я думаю, что для всех было бы лучше поскорее избавиться от такого, как я...

– Ты думаешь? Если бы ты немножко больше любил тех, кто живет тобой, ты думал бы иначе... Я приезжаю к тебе за две тысячи верст, и ты не находишь ничего лучшего, как издеваться надо мной... Я старик... Показываешь, как ты водку пить научился...

Дядя дрожал, голос его дрожал, руки дрожали. Карташев встретился с его глазами и сказал:

– Дядя, голубчик, ну, извините... Теперь уж поздно говорить, – махнул он рукой, – я запустил свою болезнь настолько... Я весь уже пропитан ею.

– Да ерунда все это.

– Дядя, голубчик, – вспыхнул опять Карташев, – только не будем же так сплеча рубить: ерунда, ерунда... Я вам говорю то, что говорит наука, а вы: «Ерунда»!

Дядя задумался.

– Твоя мать поручила мне отвезти тебя к доктору. На что лучше наука...

– На что лучше, – угрюмо ответил Карташев.

– Тут у нее есть какой-то знакомый.

Дядя достал записную книжку и прочел фамилию доктора.

– Ну, одевайся, поедem. Да закуси хоть кофе, чтоб не несло от тебя водкой.

– Вы думаете, я уж настоящим пьяницей сделался? Я пью, но так и не могу привыкнуть.

– Для чего же ты пьешь?

– Чтоб скорее к развязке... – Карташев прочел боль и страдание на лице дяди и добавил: –

Впрочем, как ни несносна жизнь, но если доктор скажет, что можно надеяться, я согласен бросить и буду лечиться. Вы взяли вопрос с другой стороны.

– Ты делаешь милость и снисходишь, чтобы жить для нас, – ответил дядя, отворачиваясь и смотря в окно.

– Ну, будет же: на меня не стоит сердиться.

– Тебя мама избаловала, папу на тебя надо было.

– Та-а-ак... Это, конечно, было бы лучше, потому что от папы я давно сбежал бы в Америку и, по крайней мере, стал человеком, а теперь я шут гороховый...

– Ну, брат, уважил ты... стою и думаю: да куда же девался наконец мой племянник Тёма?

Карташев усмехнулся.

– Тёма, собственно, умер, осталось только гнилое тело, в котором шевелятся еще черви, – это вы и принимаете за жизнь.

– Да ты просто с ума сошел!

Карташев рассмеялся.

– Сошел с рельсов, сошел с ума, сошел с колеи жизни... Лечу под откос, а вы разговариваете со мной, как с путным. Я ведь теперь и сам не знаю, что через секунду сделаю и с собой и с вами. Иногда иду по улице и думаю: брошусь и начну всех, всех, как бешеная собака, кусать, пусть не я один пропадаю, пусть заразятся и другие.

– Если бы это говорил какой-нибудь купеческий, избалованный сынок... но человек с высшим образованием...

– Э, дядя, оставьте хоть образование: ходим вокруг да около, а к образованию ума и сердца, как говорил Леонид Николаевич, еще не приступали... Навоз времен мы все с нашим образованием...

- Так ломаешься... не знаешь уж, что и говоришь.
- Не то что ломаюсь, а изломан уж весь...
- Ну, брось же ты, Тёма, этот тон... Порядочный человек... ну, застрелится, а не будет же через час по столовой ложке...
- Порядочный? так я же и не порядочный...
- Агусиньки! как маленький ребенок.
- Ну, вот, ребенок?.. И все, что я говорю вам, одно ребячество?
- Ребячество.
- И ничего заслуживающего внимания нет в этом?
- Нет.
- По чистой совести и правде?
- Как люблю моего бога.
- Просто с жиру человек бесится?
- Только.
- И можно так жить?
- Можно...
- Душа без тела может жить?
- Может, конечно... на том свете одна же душа.
- А на этом тело без души? Ну, тогда, конечно, больше не о чем и говорить: вы убедили меня, и я хочу жить!.. И какой же скотиной я сделаюсь, дядя, только ахнете... Возьмите...
- Карташев вынул револьвер.
- Ты хотел лишиться себя жизни?
- Да.
- Давно ты его носишь?
- Третий месяц.
- Можешь смело носить и дольше, – сказал дядя, положив револьвер на стол.
- Карташев покраснел.
- Это зло и справедливо, но это только показывает, как и вы презираете меня.
- Мой друг! честное слово – уважать не за что.
- Конечно... но вы даже не признаете, что я добрый человек.
- Я вижу злость, раздражение, вижу, если хочешь, сумасшедшего человека, вижу массу дурных задатков, но ничего доброго.
- Дядя, голубчик, – захохотал Карташев, – а полгода тому назад что вы говорили?
- Тогда так и было.
- Значит, через полгода я стал другим человеком?
- Что ж? это постоянно бывает.
- А не бывает так, что, когда поля засеют гнилыми семенами и бурьян начнет глушить их, говорят: не то сеяли? Ведь поле-то сеял не я.
- Да, ты святой: перед тобой только свечку зажечь... Экая же, ей-богу, подлость человеческой природы!.. сам наделал гадостей и всех, всех обвиняет, кроме себя. Ей-богу, Тёма, в тебе нет даже гордости твоего рода.
- Ну, хорошо, гордость есть. Я согласен, что я круглый подлец: так отчего же вы мне не даёте убраться к черту?
- Ах, Тёма, я уж болен, – в эти полчаса ты вымотал из меня всю душу. С тобой я сам сойду с ума. Делай что хочешь – стреляйся, вешайся, я еду домой!
- Дядя, взбешенный, с налитым лицом, с глазами полными слез, схватился за шапку.
- Карташев смутился.
- Ну, хорошо, едем к доктору.

– Слушай, Тёма, в последний раз говорю: ты все эти разговоры со мной брось... с меня как с козла молока – возьму и уеду.

– Только не пугайте. Не уедете: против мамы не пойдете! Оставьте! вы у нее под таким же башмаком, как и все мы. Приедете, и что ж? Что Тёма? И не для меня вы и приехали... а когда я вижу, что вам делается больно, мне и жаль... пожалуйста, не пугайте... поняли?

– Я понимаю, что ты сумасшедший и нагло пользуешься добротой своего дяди.

– Что правда, то правда... Ах, дядя, я теперь перед смертью хочу быть по существу: будьте по существу, и лучшего племянника вы никогда не найдете себе.

– Я уж не знаю, как и быть: я, твой старый дядя, у тебя первый раз в гостях, делай что хочешь – как хочешь, так и принимай меня...

– Вот, вот, вот... Дядя, дорогой мой, как я рад вас видеть... Я ценю все: вы не побрезгали поцеловаться, я целую вашу руку.

Дядя не успел отнять руки.

– Ну, ей-богу же, сумасшедший!

– Вы не хотите видеть водки? Вот она!

Карташев швырнул бутылку за фортку.

– Вы не хотите, чтоб я пил? даю вам честное слово, что не буду... Вы хотите, чтоб я шел к доктору? Иду! Вы, наконец, с дороги хотите чаю, кофе? Сейчас все будет.

Дядя стоял растроганный и, качая головой, шептал удрученно-ласково:

– Дурень ты, дурень...

Карташев вдруг бросился на кровать и, безумно рыдая, уткнулся головой в подушку.

– Тёма, Тёма, Христос с тобой... дитяtko мое дорогое!

Дядя ловил его голову, целовал ее, и слезы текли по его щекам.

– Я изболелся, – рыдал Карташев, – я изболелся... Я измучился, все порвалось во мне... все живое рвется, рвется... А-а-а...

Это были вопли и крики такого страдания, такого отчаяния, какое не требовало объяснений и было понятно доброму, маленькому, с большим рябым лицом человеку. Он сам плакал горько и жалобно, как плачут только или дети, или очень добрые, с золотым сердцем люди.

Они были у доктора, и старик доктор, осмотрев Карташева, долго качал головой.

– Организм ослаблен. Здесь в Петербурге оставаться невыносимо... на юге, конечно, может быть... Во всяком случае, не теряя времени надо уезжать.

Выйдя от доктора, Карташев, мрачный и упавший духом, заявил дяде:

– Я не поеду никуда, а тем более к матери.

– Умрешь.

– Умру, – глухо, безучастно повторил Карташев.

Дядя ушел и обдумывал, как помочь новому горю. Приехав домой, он послал срочную телеграмму сестре. К вечеру получена была на имя Карташева следующая телеграмма:

«Если Тёма не хочет маминой смерти, он немедленно приедет. Наташа».

Карташев повертел телеграмму и мрачно произнес:

– Еду...

Послали телеграмму о выезде и приступили к сборам. Выкупили вещи, часы. Тысячи в три обошелся этот год, и еще рублей триста истратил дядя на выкуп вещей, уплату долгов. Он только качал головой. Перед отъездом дядя пожелал, чтобы Карташев свез его к Казанской божией матери.

– Лучше сами поезжайте: я ведь неверующий... хотя и молюсь... – прибавил Карташев, подумавши.

– И молись: сегодня не веришь, завтра не веришь, а все-таки придет твой час.

– Пожалее наконец господь?

– Пожалееет.

Дядя настоял на своем, и Карташев поехал с ним в Казанский собор. Там под громадными сводами звонко отдавались их шаги, и дядя, с большим вытянутым лицом, испуганно спрашивал племянника:

– Тёма, где икона?

Карташев оглянулся и показал на одну из икон.

Дядя, запасшийся целым пучком свечей, подошел благоговейно к иконе, поставил свечи и, стоя на коленях, стал читать молитвы.

Карташев стоял в стороне и безучастно смотрел на образ.

– Ежели Казанской, – шепнул ему на ухо сторож, – то не тому образу молятся они...

Карташев быстро подошел к дяде и смущенно сказал:

– Дядя, я ошибся: вон тот образ.

Дядя, оборванный в разгаре молитвы, вскочил и с непривычной горячностью накинулся на племянника:

– Ну, ведь это же просто бессовестно! Ну, что же это? ткнул куда-то... Ну, ей-богу, просто на смех... так вот, чтобы только издеваться...

– Дядя, голубчик, ей-богу же, я не виноват... Честное слово, не нарочно...

– Э! Терпеть уж этого не могу... Ну, где же настоящая?

– Вон, вон...

– Опять что-нибудь окажется?

– Верно, настоящая, – кивнул головой сторож.

– И свечи все истратил!

Дядя мелкими шажками пошел купить новых свечей и направился к указанному образу.

Карташева разбирал смех, но он удерживался, и, когда дядя кончил молиться, он с серьезным лицом пошел рядом с ним из церкви. Дядя шел озабоченно-торопливо и с упреком говорил племяннику:

– Нельзя, нельзя, голубчик, без бога.

– И я говорю, – ответил Карташев, кивнув головой.

– Говоришь, а что делаешь? Не ты один, конечно: все ваше поколение.

– У всякого поколения свой бог...

– У тебя какой?

– У меня нет, и потому я не поколение.

– Кто ж ты?

– Китайский навоз... Там четыреста миллионов каждого поколения уже две тысячи лет насмарку.

Карташев переменял разговор.

– Бросил пить, и ни капли не тянет. Хотите, брошу опять курить? Бросаю, честное слово...

Дядя даже рассмеялся, увидя, как Карташев пустил по улице свою табачницу.

– Знаю я, голубчик, что, если б хороший кнут на тебя, ты потащил бы такой воз...

– Кнут – вы, конечно? Не было вас перед французской революцией.

– И поверь, что, если б я был Людовиком Пятнадцатым, так, ей-богу же, ничего бы и не было.

Карташев хохотал до слез.

– Ах, дядя, голубчик, один восторг вы...

Дядя шел быстро, подбирая высоко ноги, улыбался и пренебрежительно повторял:

– Дурень ты, дурень!

Совсем было выехали, как вдруг на вокзале Карташев увидел мелькнувшую Горенко. Сообразив, что и она тоже едет, он наотрез отказался ехать в этот день.

Дядя каждый раз, как племянник проявлял новый каприз, приходил в полное изнеможение. Он бессильно топтался на месте, вытирал пот на лбу и придумывал, как бы опять настроить на лад своего норовистого спутника.

– Но почему же ты не едешь?

– Не все ли равно вам? Сегодня не еду.

– Скажи прямо: может, ты завтра и совсем не поедешь?

– Завтра, честное слово, поеду.

– Но почему же не сегодня?

– Не скажу.

Дядя подумал и произнес решительно:

– Я один еду.

– И отлично.

– Ну, знаешь, честное слово, сколько живу, ничего подобного, никогда такой мороки у меня не было, как эти дни с тобой... я просто болен... живого места нет во мне.

– А я умираю и то молчу.

– Эх, батюшка, все мы умрем... не о том надо думать, а о том, чтоб поменьше мучить близких... Больной, больной, а уж из рук вон!

На другой день опять чуть было не расстроилась поездка.

– Дайте мне карманных денег, – потребовал Карташев.

– На что тебе?

– Не хочу быть от вас в зависимости.

– Да что ты, господь с тобой?

– Мне три месяца жить осталось, и довольно с меня всякой опеки... Я ведь отлично вижу и читаю ваши мысли: вы вот усадите меня в купе, тронется поезд, и тогда я весь в ваших руках. Не хочу: ни в чьих руках я с этого времени никогда не буду... Так и запишите и маме передайте... Я теперь не то, чем был прежде, тогда мне было что терять, а теперь у меня надежный товарищ.

– Кто?

– Смерть.

– Господи, как может измениться человек. Ты совсем негодяй.

– Я вам говорю, дайте денег.

– Ну, дам...

– Сейчас дайте.

– Да что ж ты, Тёма, не веришь, наконец, мне?

– Не верю, не верю, никому не верю...

– Да у меня таких денег и нет: вот все...

– Деньги у вас зашиты в жилете, видел ведь.

– Господи, где ж я тут распарывать их буду?

– Идите в уборную.

– Сейчас звонок.

– Успеете.

– Тёма, ведь я старик.

– Ну, когда ж я такой подлец, что мне решительно все равно – старик вы или нет.

– Тьфу ты! наконец... Да ты действительно тронулся.

Дядя сделал страшные глаза, пожал плечами и пошел поспешно в уборную.

Немного погодя он вручил племяннику сторублевую бумажку.

– Тёма, но если ты будешь пить...

– Угадал, значит, что под опеку хотели взять... Успокойтесь, пить не буду: я хоть и разбойник, но честный: дал слово.

– На что ж тебе деньги?

– Буду раздавать на водку за упокой моей души... Книжек накоплю сейчас. Есть серьезные, так называемые хорошие книги, так я их не куплю, хотя они, может, и действительно хорошие; я куплю романчик Габорио или что-нибудь в этом роде... Ведь это и ваша любимая литература?

– Если по-русски, а по-французски читай сам...

– По-русски, по-русски.

Дорогой дядя, выгадывая экономию, незаметно старался, чтоб Карташев платил по буфетам за еду. Сначала Карташев не замечал этого, но поняв намерение дяди, отказался наотрез платить за что бы то ни было.

С тяжелым чувством подъезжал Карташев ранним утром с вокзала к старому дому, где жили теперь для экономии Карташевы. С ощущением арестованного он поднимался по ступенькам террасы в сопровождении дяди. Мысль удрать соблазнительно закрадывалась в его голову. По этой террасе, бывало, отец, поймав его, вел в кабинет для наказания. Он давно уж не говорил дяде резкостей и первую сказал опять, стоя у двери в ожидании, когда ее отворят:

– Вы мой жандарм...

Дядя только головой мотнул.

Заспанная незнакомая горничная отворила дверь. Карташев с ощущением человека, собирающегося лезть в холодную воду, решительно шагнул в переднюю. Он снял пальто, помертвелыми глазами взглянул на дядю и без всякой мысли вошел в гостиную. На него вдруг напала страшная слабость, и он опустился на первый стул. Дядя прошел мимо него в следующую комнату.

Карташеву вдруг ярко вспомнилась картина из раннего детства, когда к его матери привели убежавшего из бывших крепостных поваренка Якима; Яким стоял в ожидании барыни: губы его были белые, голубые глаза совершенно бесцветны, он то и дело встряхивал своими кудрями. Так и он, Карташев, ни на кого теперь не смотрел, был бледен, вероятно, как смерть, сердце громко билось в груди. Какие-то тяжелые шаги: целая процессия... Дверь тихо отворилась.

Как сквозь сон, смотрит Карташев лениво, апатично, тяжело, как сквозь сон, видит какую-то белую маленькую старушку. Неужели это мать? Ее ведут: с одной стороны дядя, с другой – бледная как смерть Наташа.

Он поднялся и пошел медленно навстречу к матери. Мать остановилась, и страшные глаза уставились в него.

– Я думала, – сурово отчеканивая слова, заговорила Аглаида Васильевна, – что вырастила мужественного, честного, любящего, не разоряющего свою семью сына, а я вырастила...

– Мама! не говори... – дрожащим голосом сказал Карташев.

– Мама, не надо... – умоляюще, как эхо, повторила Наташа.

Наступило молчание. Надо было что-то делать.

Карташев, думая, что мир лучше всего, нагнулся к руке матери. Это тупое равнодушие павшего сына резнуло Аглаиду Васильевну по сердцу. Она растерянно поцеловала воздух, но потом голосом тоски, смерти, страдания, отвращения проговорила:

– Я не могу...

Она повернулась было назад, но взгляд ее остановился на образе в углу, и, упав перед ним на колени, она страстно в отчаянии воскликнула:

– Господи, за что же?! За что позор за позором валится на мою голову?!

И глухие рыдания ее понеслись по комнате.

Наташа и дядя подняли ее и увели в спальню. Карташев никогда не вдумывался, как именно произойдет встреча с матерью. Теперь она произошла. Очевидно, мать знала все... Меньше всего он ожидал, что вызовет к себе только чисто физическое отвращение. Он стоял раздавленный и растерянный. Но, оглянувшись и увидев вдруг в дверях передней Горенко, которая манила его пальцем к себе, он, ничего уж не соображая, как она очутилась здесь, думая только о том, чтобы не выдать своего смущения, скрепя сердце, с выражением пренебрежения ко всему, пошел к ней.

Они прошли переднюю и вошли в кабинет.

Все тот же кабинет: и ружья по стенам, кровать и диван и смятые постели на них. Он только теперь заметил, что Горенко еще не причесана и одета наскоро: она, значит, ночевала у них. Он знал, что перед отъездом в Сибирь она по своим денежным делам должна была приехать на родину. Очевидно, она остановилась у них.

– У вас кровь на щеке, вытрите, – сказала Гаренко, с слегка брезгливым чувством отворачиваясь от него.

Карташев вспыхнул, быстро вынул платок и начал перед зеркалом осторожно прикладывать его к ранке. Мысль, какое он должен был произвести удручающее впечатление, тяжело навалилась на него. «Какая каторга, зачем я приехал?» – мелькало в его голове.

– Вчера ночью Маню отвели в тюрьму, – угрюмо проговорила Горенко.

Карташев растерянно присел на край дивана: сцена с матерью осветилась вдруг совершенно иначе. Теперь он понял ее. Машинально повторил он слова матери:

– Какой позор!..

Горенко сразу потеряла самообладание.

– Не позор!! – быстро вспыхнув, бросилась она к нему. – Не позор... Позор не в этом, не в этом. И вы знаете, в чем позор... не смеете фальшивить... Не смеете: старикам оставьте их комедии – глупым, тупым, неразвитым эгоистам... А вы только эгоист, но сознающий! От своего сознания никуда не денетесь... Лгите другим, но не смейте лгать здесь...

Карташев, как во сне, утомленно слушал. Это говорила та, которая когда-то в гимназии была влюблена в него. Стоило ему тогда сказать ей только слово, и она пошла бы за ним, куда бы он только ни захотел. Но они разошлись по разным дорогам и теперь опять случайно встретились. Она стояла перед ним, глаза ее сверкали, тонкая кожа обыкновенно бледного лица залилась румянцем и покраснелась. Она стояла, наклонившись вперед, стройная, точно сжимаемая каким-то внутренним огнем. Откуда у нее эта жизнь, сила, красота? Такой он ее не знал тогда. В такую он, может быть, влюбился бы больше, чем во всех тех, в кого был влюблен.

Верочка и его болезнь безмолвным контрастом сопоставились с этой стоявшей перед ним женщиной. Даже не болело – так безнадежно, безвозвратно было то прошлое.

Он заговорил спокойно, равнодушно:

– Я потерял все... ничего не осталось... – Он остановился, чтобы совладеть с охватившим его волнением. – Даже для семьи я стал чужим... Вы хотите убедить меня, что я не искренний и в убеждениях... Думайте что хотите... – Слезы сжали ему горло, он сделал мучительную гримасу, чтобы подавить их, и кончил: – Передайте матери, что мы с ней больше никогда не увидимся.

– Вы хотите лишиться себя жизни? – спросила, подавляя смущение, Горенко.

– Нет.

Он хотел прибавить, что ему осталось два-три месяца до естественной развязки, но удержался.

– Можно передать вашей матери, что вы, может быть, воротитесь к ней... другим человеком?

– Нет, нет... этого нельзя... Ни к ней, ни к вам никаким я никогда не вернусь!..

Он быстро повернулся к двери.

Она крикнула вдогонку первое, что сообразила:

– Возьмите хоть денег на дорогу.

Она догнала его и сунула ему в руку свой кошелек.

Карташев хотел было повернуться, чтобы сказать что-то еще, но слезы заволакивали глаза, он боялся расплакаться и, судорожным движением оттолкнув ее руку с деньгами, исчез в дверях.

Наташа, уложив мать, тихо, рассеянно, равнодушно шла из спальни матери. Она вторую ночь не смыкала глаз; она устала, в ушах был какой-то страшный шум и все вертелась любимая песня Мани. И так отчетливо она слышала выразительный голосок Мани, так отчетливо, что слезы выступали на глаза, и, подавляя их, она еще равнодушнее смотрела по сторонам. В гостиной брата не было. Она прошла в переднюю, вошла в кабинет и устало спросила Горенко:

– Где брат?

– Он ушел.

– Куда? – встрепелась вся до последнего нерва Наташа.

– Ушел, чтоб умереть или вернуться в свою семью человеком... – угрюмо ответила Горенко.

Наташа молча, точно не понимая, смотрела на Горенко.

– Зачем вы его не удержали?

– Зачем я буду его удерживать? на что вам такой? а другим не у вас же он станет!

Горенко говорила жестко и резко.

Наташа растерянно присела и с упреком смотрела на подругу.

– У вас нет сердца, – проговорила она и, закрыв лицо руками, как-то взвизгнув, жалостно заплакала.

Она плакала все громче и громче, плач перешел в судорожные вопли, рыдания, а Горенко быстро бегала по комнате, нервно ломая руки.

– Боже мой, боже мой! Наташа, ради бога, точно на разных языках мы говорим с вами.

Наташа! было время, я не меньше вашего его любила...

Горенко говорила долго и много.

Наташа стихла. Она положила голову на руки, молчала и только изредка вздрагивала. Острая боль сменилась каким-то сладким успокоением. Где-то далеко, далеко раздается голос Горенко, что-то сверкает, точно в ярких лучах солнца: то церковь стройной вершиной уходит в небо; она с Корневым в их деревенском саду; монахиня на коленях, та, о которой говорил тогда Корнев; несетя тихое, стройное, нежное пение:

Свете тихий, святые славы...

И все вдруг стихло и потонуло в бесконечном покое... Страшный мрак... Растерянная Наташа с диким криком бросилась к Горенко.

– Где я, где я?!

Она обхватила Горенко и тяжело, не удержавшись, опустилась по ней на пол.

– Наташа, милая Наташа! – потрясенная ужасом, закричала, в свою очередь, Горенко. – Кто-нибудь на помощь!

Часы медленно пробили восемь.

– Боже мой, какой ужасный день, а только восемь часов, – шептала в ожидании прихода кого-нибудь Горенко.

В дверях стояла Аглаида Васильевна и смотрела на нее напряженными горящими глазами.

– Со стороны смотреть – ужасный, – проговорила она, – а переживать его?!

Аглаида Васильевна вдохновенно, гордо показала рукой вверх.

– Переживем: тот, кто посылает крест, дает и силы.

И, подойдя к лежавшей на полу Наташе, голосом бесконечной любви и ласки она нежно произнесла:

– Наташа!

Наташа открыла глаза.

– Пойдем с мамой, моя голубка дорогая... пойдем, ляжем... Уснет моя Наташа.

У Наташи дрогнуло лицо, и, поднимаясь, она растерянно, жалобно проговорила:

– Мама?!

– Мама, твоя мама!

И, нежно увлекая за собой дочь, обводя Горенко взглядом твердым, не просящим ни у кого помощи, чистым и спокойным, устремленным куда-то вдаль, туда, где осталась ее молодость, вся ее жизнь, Аглаида Васильевна вышла с дочерью из комнаты.

XXX

Карташев вышел из кабинета, не разбирая, куда идет. Не все ли равно? Одна мысль – никого не встретить, уйти незамеченным. Через темную переднюю он прошел к лестнице, ведущей в кухню, спустился в коридор и вышел во двор к ограде сада.

Он стоял здесь без мысли, без движения, связанный сознанием своей безвыходности. Да, завалило все входы и выходы! Господи, что же делать?! Идти назад к матери и просить прощения? Пробраться в маленькую комнатку и там смиренно ждать, когда пожалеют и позовут? И опять все та же пустая жизнь в пустом ожидании, когда любо станет все, что любо матери, с подорванным вконец кредитом к тому же, в унижительной роли дармоеда?!

И в чем просить прощения? Не заболел он, только не заболел, и он по-прежнему был бы все тот же, правда немного неэкономный, немного несерьезный, может быть, даже далекий от идеалов Аглаиды Васильевны, но зато далекий и от всяких других идеалов, и все-таки примерный Тёма, краса и гордость своей семьи именно тем, за что упрекала его Горенко и кричала ему надменно-запальчиво: «Не смеете!» Но мать тоже говорила, отправляя тогда в Петербург: «Тёма, не смей...»

– Не смей, не смей, везде не смей! – шептал Карташев, и какая-то буря отчаянья, злобы, бешенства поднималась в его душе.

«Не все ли равно, что там еще ждет впереди? Э, нет, не все равно! Пусть придет еще все, что есть самого ужасного!.. Иди, иди, проклятое! Рви больней, сильней... Не боюсь! Ненавижу тебя, жизнь! Ненавижу все ваши „не смеете“. Все смею! Ценою жизни я купил себе это право... Топчите, бейте, но буду делать, что хочу я, я, я... проклятые!..»

Он забыл, зачем он пришел сюда, забыл, что стоит здесь, забыл, что надо куда-нибудь идти. Ураган, охвативший его душу, точно нес его над какой-то бездной, и в эту бездну летело все: семья, отношения, вся обстановка обычной жизни, полетит он сам, его жизнь, и исчезнет навеки в этой темной, страшной бездне. Смерть, смерть и конец всему...

И опять все стихло, промчался ураган, нет охоты думать, шевелиться, и даже сознание, что надо еще жить, отлетело куда-то. Нет, нет, ничего больше не надо, и эта минута покоя наболевшего тела, разорванной души – эта минута его, и пусть она куплена ценой, которая в глазах других ничего не стоит, но она всего стоит в его глазах, и не им, тем другим, жить, – тем ведь ничего же не надо: успех – хорошо, нет – выгонят, отвернутся... мать отвернется...

«О, всем прощу, но не тебе... все права ты потеряла сегодня... не сын я тебе, хорошо!.. и ты же мне больше не мать...»

Карташев мутными глазами затравленного зверя оглянулся кругом.

«Нет, нет, не надо, – подумал он, – хорошо, хорошо: я люблю вас всех, но не хочу вашей любви... не хочу: она ничего не стоит...»

«Зачем ненавидеть, зачем? Это такое низкое чувство... Уж если ничего не осталось, то пусть останется хоть сознание, что я все-таки не тот, за кого меня принимают... Пусть они думают там, что хотят... для меня где теперь они? Все погибло, нет семьи, нет друзей, нет карьеры, умирающий... Я один теперь, – я Жучка, брошенная в колодезь, и некому вытащить меня...»

Слезы полились по его щекам.

Он долго плакал, потом вытер слезы и подумал: «Надо уходить».

Он продолжал стоять у ограды.

Было ясное октябрьское утро. Далекое солнце светило холодно. Сверкала желтая, местами ярко-красная, местами еще темно-зеленая сочная листва деревьев. На дорожке, за оградой валялся кем-то забытый, кем-то сделанный, простой из орешника лук. Точно это он сам, как когда-то в детстве, сделал его вчера и бросил, чтобы, проснувшись сегодня радостным

и счастливым, найти его и бежать с ним, полным жизни, навстречу начинающемуся веселому дню... О, боже мой, это все было, и как все живо и как сильно вспомнилось вдруг это промчавшееся безвозвратно детство... Жучка, колодезь, тот день, когда он ее искал и вытащил... Тогда тоже что-то случилось с ним, его наказали, и ему во сне приснилось тогда, как вытащить Жучку... Он так и вытащил потом. Был болен... Как любили его тогда... Тогда для какой-нибудь Жучки он не задумался рискнуть жизнью, а теперь? Или нет уж в нем мужества и он боится смерти? Но разве он и теперь не рискует жизнью, и на этот раз даже и не для Жучки? Разве не сам он не хотел лечиться, не сам довел себя до такого состояния? Отчего?!

Надо идти отсюда. Надо навсегда оставить дом, родных, все, к чему так привыкли воля, сердце, мысль. Почему надо? Надо.

Он посмотрел на сад, на дом и пошел со двора, огибая террасу.

О чем жалеть?! Он пошел по улице.

Умереть?! А кругом жизнь была ключом и казалась прекрасной и в спокойном прозрачном воздухе, и в безмятежном осеннем небе, и в этом контрасте покоя с шумом улиц, в спешном движении пешеходов, в грохоте телег, экипажей. Утро, полное жизни, сверкает, охватывает, и так мучительно хочется слиться опять со всей этой прелестью жизни, почувствовать силу, крылья, обаяние, блеск этой жизни, лететь туда, в ту чудную даль, где едва заметно, привольно и беззаботно точно купается в синем воздухе свободная птичка. О, как захотелось вдруг жить!

«Хочу жить, жить хочу! – напряженно стучало в висках Карташева. – Но не здесь, – здесь смерть: не здесь...»

Карташев очнулся на вокзале. Какой-то поезд готовился к отходу. «Поеду отсюда...»

Куда? Да, да: куда? Он вдруг вспомнил какой-то городок, где жил друг его дяди. Он раз только и видел его у дяди. Грустный, задумчивый, молчал и все слушал, а глаза, добрые, ласковые, смотрели на него – Карташева.

«Он добрый», – успокоительно подумал Карташев и пошел покупать билет.

Потом, уже сидя в вагоне, он подумал, что надо все-таки написать матери.

Он позвал посыльного и, вырвав листок из его тетрадки, написал:

«Я попал, как Жучка, в вонючий колодезь. Если удастся выбраться из него – приеду. Если нет – не стоит и жалеть. Прощайте и простите».

Карташев ехал, смотрел в окно вагона, прислушивался к стуку колес, ничего не видя, ничего не слыша. Мысли, как вспугнутые птицы, тревожно, – точно отыскивая местечко, где бы присесть, – носились в его голове. Носились, и он гнал их, – они отлетали, опять возвращались – беспокойные, тревожные. Мысли о доме, матери, о Петербурге, долгах, о Верочке, Шацком, о настоящем мгновении, о смерти – все было загажено, тоскливо, не на чем было остановиться, отдохнуть.

На одной из станций поезд стоял, Карташев, смотря в окно, думал: «Этот стрелочник, который стоит перед его окном и смотрит на него – Карташева, захотел бы поменяться с ним ролями?...»

Какой-то поезд подошел и остановился так, что окно купе, где помещался Карташев, пришлось против арестантского вагона. Вагон уже трогался. В нем было человек пятнадцать. Карташев встал, с любопытством рассматривая из своего окна арестантов. На скамье сидел молодой человек с гладко причесанными волосами. Перед ним лежали хлеб, какая-то рыба. Сидевший отрезывал ломтиками хлеб и рыбу и не спеша ел. Слегка косые глаза его спокойно, удовлетворенно смотрели куда-то и видели, очевидно, не то, что окружало его. И вдруг эти глаза остановились на Карташове. Чьи это глаза? Он где-то уже видел их.

«Иванов?!» – мелькнуло вдруг в голове Карташева.

Очевидно, и Иванов узнал его. В его косых глазах мелькнул какой-то ужас, и Карташев, как ужаленный, отскочил и спрятался в глубине купе.

Узнал его или нет Иванов?

Карташев сидел растерянный, подавленный.
«Да, так вот где опять перекрестились наши дороги».

1895